

ГАБРИЕЛЬ
ГАРСИА МАРКЕС

*Скверное
время*

АДМИНИСТРАЦИЯ

Annotation

Семнадцать осенних дней из жизни одного колумбийского городка. Дождь то и дело сменяется удушающей жарой. Именно в такой октябрь в одном колумбийском городке появляются листки с описанием тайн жизни его обитателей. Пасквилы и карикатуры всего лишь повторяют слухи и домыслы, но некоторые принимают их слишком близко к сердцу. После первого убийства глава города в условиях чрезвычайного положения предпринимает активные действия, преследуя подчас не общественные, а личные цели...

Данный перевод содержит ненормативную лексику.

- [Габриэль Гарсия Маркес](#)

-
- [I](#)
- [II](#)
- [III](#)
- [IV](#)
- [V](#)
- [VI](#)
- [VII](#)
- [VIII](#)
- [IX](#)
- [X](#)

- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)

- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.ru](#)

[Все книги автора](#)

[Эта же книга в других форматах](#)

Приятного чтения!

Габриэль Гарсия Маркес
Скверное время^[1]

Не теряя торжественности и достоинства, падре Анхель приподнялся, сел. Согнутыми пальцами растер веки, отодвинул вязаный москитник и на какое-то мгновение замер в задумчивости на гладкой циновке: нужно ведь время, чтобы осознать пульсирование жизни в своем теле, вспомнить, какое сегодня число и какой дате церковного календаря оно соответствует. «Понедельник, 4 октября», — подумал он и негромко вымолвил:

— Святой Франциск Ассизский.

Не умывшись и не помолившись, падре сразу же оделся. Своей дородной и полнокровной фигурой он походил на послушного быка, и движения его напоминали бычьи — такие же неторопливые и задумчивые. Поправив пуговицы на сутане — так пальцы музыканта, проверяя настройку арфы, легко пробегают по ее струнам, — он отодвинул засов и открыл дверь во двор. Вид влажных от дождя тубероз напомнил ему слова песни.

— «От слез моих разольется море», — вымолвил он, вздохнув.

В церковь можно было попасть прямо из спальни, пройдя по крытому переходу; вдоль его стен стояли цветочные горшки, а пол был вымощен кирпичом, через его зазоры пробивалась октябрьская трава. Прежде чем направиться в церковь, падре Анхель зашел в отхожее место. Там, стараясь не дышать, обильно помочился; падре очень не любил острый аммиачный запах: от него текли слезы. Выйдя в коридор, он вспомнил: «Унесет меня эта ладья в море грез твоих». Уже на пороге узенькой церковной двери на него в последний раз пахнуло ароматом тубероз.

В церкви дурно пахло застоялым воздухом. Церковь была большой, с одной дверью на площадь, с кирпичным полом. Падре Анхель направился прямо к звоннице. Глянув на висевшие в метре над головой три противовеса, подумал: завода хватит еще на неделю. Тем временем на него надели москиты; падре резко шлепнул себя по затылку, а потом вытер руку о веревку колокола. Словно в ответ, сверху послышались утробные звуки сложного устройства, и сразу же глухо и низко прозвучали родившиеся где-то в механическом чреве пять ударов, — они возвестили пять часов утра.

Падре подождал, пока утихнет последний отзвук. Потом, взявшись за веревку обеими руками, намотал ее на запястья и принялся с торопливым рвением звонить в потрескавшуюся бронзу колоколов. Ему исполнился шестьдесят один год. В его возрасте управляться с колоколами было уже

весьма тяжело, но он всегда собственноручно сзывал паству к мессе, и это укрепляло его дух.

Под звон колоколов Тринидад вошла с улицы в церковь через боковую дверь и сразу же направилась в угол, где накануне вечером расставила мышеловки. Там ее глазам открылась картина, вызвавшая у нее одновременно чувства отвращения и радости: небольшое мышинное побоище.

Открыв первую мышеловку, она взяла мышь указательным и большим пальцами за хвост и бросила ее в картонную коробку. В это время падре Анхель открыл выходящую на площадь дверь.

— Доброе утро, падре, — сказала Тринидад.

Но красивый баритон священника не прозвучал ей в ответ; безлюдная площадь, дремлющий под струями дождя миндаль, неподвижный городок в эти тоскливые мгновения октябрьского рассвета вызывали у него гнетущее чувство незащитности и одиночества. Но когда слух его привык к шуму дождя, он уловил доносящиеся издали, со стороны площади, чистые и какие-то нездешние звуки кларнета Пастора. Только тогда он ответил на приветствие.

— Пастора не было с теми, кто пел серенаду, — добавил он затем утвердительно.

— Да, не было, — подтвердила Тринидад, подойдя к нему с коробкой, где лежали мертвые мыши. — Он был с гитаристами.

— Битых два часа они пиликали какую-то глупую песенку, — сказал падре. — «От слез моих разольется море». Так, кажется, я не ошибся?

— Это новая песня Пастора, — сказала Тринидад.

Застыв у двери, падре неожиданно для себя оказался во власти очарования музыки. Уже многие годы слушает он игру Пастора на кларнете: ежедневно, ровно в пять утра, прислонив к жердям своей голубятни скамейку, в двух кварталах отсюда, садится тот и начинает упражняться на инструменте. Словно городок этот обладает неким удивительно точным механизмом: сначала часы отбивают пять ударов — пять утра, затем — зовущий на мессу колокольный звон, а потом уж — кларнет Пастора во дворе его дома, очищающий дивными и чистыми нотами воздух, что насыщен запахом голубиного помета.

— Музыка хорошая, — ответил падре, — но слова-то глупые. Слова можно переставлять туда-сюда и обратно, и все одно и то же. «Унесет меня этот сон в море твоих ладей».

Улыбаясь собственной остроте, он повернулся и направился к алтарю, чтобы зажечь на нем свечи. Тринидад последовала за ним. На ней был

белый длиннополый халат с рукавами, доходившими до самых кистей, перехваченный шелковым голубым поясом, — такую одежду носили миряне ее конгрегации. На ее лице под сросшимися на переносице бровями сверкали черные блестящие глаза.

— Они всю ночь крутились где-то рядом, — сказал падре.

— У Маргот Рамиреса, — рассеянно ответила Тринидад, потряхивая коробкой сдохлыми мышами. — Но этой ночью было кое-что похлеще, чем серенады.

Падре приостановился и задержал на ней пристальный взгляд своих тускло-голубых глаз:

— Так что же было?

— Анонимки, — ответила Тринидад. И брызнула нервным смешком.

* * *

Чуть дальше — через три дома от церкви — спал Сесар Монтеро; ему снились слоны. В воскресенье он их видел в кино, но за полчаса до окончания фильма хлынул ливень; фильма досмотреть он не дал — и теперь фильм продолжал идти во сне.

Сесар Монтеро спал, привалившись к стене всем весом своего внушительного тела, а в то время насмерть перепуганные индейцы суматошной гурьбой улепетывали от слонов. Его жена во сне слегка толкнула своего супруга, но никто из них не проснулся. «Мы уходим», — пробормотал он и снова занял прежнее положение. И тут он наконец проснулся: в это время зазвонили к мессе во второй раз.

Многие окна и двери в доме были затянуты металлической сеткой. Выходившее на площадь окно тоже было забрано сеткой. На нем висели шторы из кретона в желтый цветочек. На ночном столике стояли переносной радиоприемник, настольная лампа и часы со светящимся циферблатом. У стены — огромный шкаф с зеркальными дверями. Кларнет Пастора заиграл, когда Сесар Монтеро надевал ботинки для верховой езды. Шнурки из грубой кожи от грязи стали жесткими. Он с силой размял их, пропустив через крепко сжатый кулак, кожа его рук была еще жестче, чем шнурки. Потом стал искать шпоры, но с первого раза под кроватью их не нашел. Он продолжал одеваться в темноте, стараясь не шуметь, чтобы не разбудить жену. Застегивая пуговицы на рубашке, он посмотрел на часы, стоящие на ночном столике, и снова стал искать под кроватью. Сначала искал согнувшись, потом, наклоняясь все ниже, оказался на четвереньках и

принялся шумно шарить под кроватью. Жена проснулась:

— Что ты ищешь?

— Шпоры.

— Они за шкафом, — сказала жена. — Ты сам их туда затолкал еще в субботу.

Жена откинула полог москитника и зажгла свет; муж с чувством неловкости поднялся и стал на ноги. Был он внушительного телосложения, с массивными квадратными плечами, но, даже несмотря на тяжелые и неудобные ботинки на негнущейся, словно деревянной, подошве, двигался Сесар Монтеро удивительно легко. Здоровье у него было отменное, и на вид трудно было определить его возраст, хотя по коже на шее можно было догадаться: ему перевалило за пятьдесят. Он присел на кровать и стал надевать шпоры.

— Льет как из ведра, — сказала она, ощутив в своем теле знобкую сырость прошедшей ночи. — Я словно губка.

Миниатюрная, угловатая, с длинным острым носом и постоянно сонным лицом, она посмотрела на шторы, словно желая рассмотреть за ними дождь. Нацепив наконец шпоры, Сесар Монтеро встал и несколько раз постучал каблуками об пол — вместе с медными шпорами ходуном заходил весь дом.

— В октябре ягуар набирает вес, — сказал он.

Но очарованная мелодией Пастора, жена его не слышала. Когда она посмотрела на мужа вновь, он, широко расставив ноги и наклонив голову — в зеркале шкафа, увы, весь он не уместился, — уже причесывался.

Тихим голоском она напевала мелодию Пастора.

— Всю ночь напролет они пиликали эту песенку, — сказал он.

— Она очень красивая, — отозвалась жена.

Сняв с изголовья кровати ленту, женщина собрала волосы на затылке, вздохнула и, уже совсем проснувшись, промурлыкала: «В твоих снах я остаюсь до самой смерти». Муж не обратил на это внимания. Из ящика шкафа, где хранились какие-то украшения, женские часики и авторучка, он взял бумажник с деньгами, вынул из него четыре банкноты и снова положил бумажник на место. Потом сунул шесть ружейных патронов в карман рубашки.

— Если дождь не перестанет, в субботу не приеду, — сказал он.

Открыв дверь во внутренний двор, он на мгновение задержался на пороге и, пока глаза его не привыкли к темноте, вдохнул тяжелый, пахнущий грустью октябрьский воздух. Он еще не закрыл дверь, как в спальне зазвонил будильник.

Жена соскочила с постели. И пока она не выключила будильник, муж держал руку на дверной задвижке и тут, впервые за все это утро, в задумчивости посмотрел на нее.

— Этой ночью мне снились слоны, — сказал он.

Он закрыл дверь и пошел седлать мула.

Под колокольный звон дождь усилился. Промчавшийся понизу порыв ветра сорвал последнюю увядшую листву с миндальных деревьев на площади. Уличное освещение уже погасло, но двери домов еще оставались закрытыми. Сесар Монтеро въехал на муле на кухню и, не спешиваясь, крикнул жене, чтобы та принесла ему плащ. Сняв из-за спины сложенную двустволку, он прикрепил ее горизонтально ремнями к седлу. В дверях с плащом появилась жена.

— Пережди, пока не стихнет, — робко предложила она.

Молча он накинул плащ, потом глянул во двор и буркнул:

— До декабря не стихнет.

Она проводила его взглядом до конца крытого перехода. Дождь остервенело хлестал проржавевшие листы крыши, но муж, несмотря на это, уезжал. Пришпорив мула, он пригнулся, чтобы, выезжая со двора, не удариться о притолоку ворот. Сорвавшиеся с карниза крупные, как дробь, дождевые капли расплющились на широкой спине. С порога, не поворачивая головы, он крикнул:

— До субботы.

— До субботы, — ответила жена.

На площади была открыта только дверь церкви. Сесар Монтеро глянул вверх — буквально в метре над головой увидел плотное низкое небо. Перекрестившись, он пришпорил мула так, что тот встал на дыбы и завертелся волчком на скользкой, как мыло, земле. Тут Сесар Монтеро заметил приклеенный на двери его дома листок.

Не спешиваясь, он прочел его. Дождевая вода смыла краску, но написанный кистью, неуклюжими печатными буквами, текст все равно легко можно было прочесть. Направив мула как можно ближе к стене, Сесар Монтеро сорвал бумажку и разорвал ее на клочки.

Он хлестнул вожжей мула и пустил его мелкой неспешной рысцой: так тот способен был выдержать много часов пути. Проехав площадь, Сесар Монтеро погнал по узкой извилистой улице мимо глинобитных домиков, и, когда открывались их двери, ему казалось, что из них выскользает жар снов. Пахло кофе. И только когда последние домики городка остались за спиной, он развернул мула назад и такой же мелкой и неспешной рысцой вернулся на площадь и остановился у дома Пастора. Здесь он спешился,

вынул ружье и привязал мула к жерди; это было проделано, как он делал все, без суеты.

Дверь была без задвижки, но снизу ее подпирала громадная раковина. Сесар Монтеро ступил в полумрак небольшой прихожей. Прозвучала высоко взятая нота, а потом последовала пауза — словно за стеной кто-то замер в напряженном ожидании. Обойдя покрытый шерстяной скатертью небольшой стол, украшенный склянкой с искусственными цветами, — к нему вплотную были придвинуты четыре стула, — Сесар Монтеро подошел и остановился перед дверью, выходящей во двор; тут он откинул назад капюшон плаща, снял на ощупь предохранитель и спокойным, почти дружелюбным голосом позвал:

— Пастор.

В дверном проеме, отвинчивая от кларнета мундштук, появился Пастор: сухощавый, прямо державшийся юноша с подровненным ножницами молодым пушком на верхней губе. Увидев перед собой решительно стоящего Сесара Монтеро с направленным на него ружьем, он беспомощно открыл рот, но ничего не смог сказать, а только побледнел и слабо улыбнулся. Сесар Монтеро поплотнее уперся ногами в земляной пол, прижал приклад к бедру и, сжав решительно челюсти, надавил на спусковой крючок. Дом содрогнулся от выстрела; извиваясь как червь, по ту сторону порога в водовороте мелких птичьих перьев судорожно полз Пастор; оказался он там до или после выстрела — этого Сесар Монтеро сказать не мог.

* * *

Алькальд начал уже было засыпать, как вдруг прогремел выстрел. Уже три ночи мучительная зубная боль не давала ему ни сна ни покоя. Сегодня утром, с первым ударом колокола, призывающего на мессу, он принял в восьмой уже раз дозу обезболивающего. Боль отступила. Стук дождевых капель о цинковую крышу приглашал ко сну, но даже в полудреме зуб, хотя и не болел, напоминал о себе. Когда раздался выстрел, сон развеялся в мгновение ока; алькальд схватил пояс с надетыми на него подсумками и револьвером, — благо, что все это он всегда держал под рукой: на стуле, слева от гамака. Но, кроме шума дождя, не слышно было больше ничего, тогда алькальд решил, что, видимо, это был кошмарный сон, и нестерпимая зубная боль обрушилась на него снова.

Его знобило. Глянув на себя в зеркало, он увидел, что щеку разносит.

Он открыл баночку с ментоловым вазелином и смазал больное, твердое на ощупь место на щеке, бриться которую не решался. Сквозь шум дождя до его слуха донеслись отдаленные голоса. Алькальд вышел на балкон. По улице бежали люди, некоторые — даже в спальном белье; вся толпа двигалась в сторону площади. Какой-то паренек повернул к нему голову и, всплеснув руками, не задерживаясь, прокричал:

— Сесар Монтеро застрелил Пастора!

На площади, целясь в толпу из ружья, волчком вертелся Сесар Монтеро. Алькальд узнал его с трудом. Вынув левой рукой револьвер из кобуры, он начал продвигаться к центру площади; народ расступался, освобождая ему дорогу. Из бильярдной появился полицейский с винтовкой на изготовку и стал целиться в Сесара Монтеро. Алькальд негромко сказал ему: «Не стреляй, придурок!» Вложив свой револьвер обратно в кобуру, он выхватил у полицейского винтовку и с оружием наготове снова двинулся к центру площади. Толпа отшатнулась к стенам.

— Сесар Монтеро, — выкрикнул алькальд, — отдай ружье!

До этого мгновения Сесар Монтеро алькальда увидеть не мог. Но теперь, в резком прыжке, он повернулся к нему лицом. Алькальд отжал спусковой крючок, но не выстрелил.

— Возьмите сами! — прокричал Сесар Монтеро в ответ.

Держа винтовку в левой руке, правой алькальд вытирал заливавший глаза пот. Каждый шаг его был рассчитан, палец — по-прежнему на спусковом крючке, глаза — на Сесаре Монтеро. Вдруг алькальд остановился и дружелюбно проговорил:

— Брось-ка ружье, Сесар. Не натвори еще каких глупостей.

Сесар Монтеро попятился. Но алькальд палец со спускового крючка не снял и расслабиться себе не позволил. И ни один мускул на его лице не дрогнул, пока Сесар Монтеро не опустил, а затем и не бросил свое ружье наземь. Тут только алькальд осознал: одет он кое-как — в пижамных брюках, и, несмотря на дождь, с него градом катит пот, а зуб совсем перестал болеть.

Открываясь, захлопали двери. К центру площади бежали двое полицейских с винтовками. Толпа устремилась за ними. Развернувшись в прыжке вполоборота, полицейские, взяв оружие на изготовку, закричали:

— Назад!

Ни на кого не глядя, алькальд спокойно приказал:

— Освободите площадь.

Народ подался назад. Не заставляя Сесара Монтеро снимать плащ, алькальд обыскал его; в кармане рубашки были найдены четыре ружейных

патрона, в заднем кармане брюк — наваха с рукоятью из рога^[2], в другом кармане — записная книжка, три ключа на металлическом кольце и четыре билета по сто песо. Равнодушный ко всему происходящему, широко разведя руки, Сесар Монтеро дал себя обыскать, но не сделал ни малейшего движения, чтоб как-то обыску помочь. Закончив, алькальд подозвал полицейских, вручил им изъятые вещи и передал Сесара Монтеро под их опеку.

— Немедленно доставить его в ратушу на второй этаж, — приказал он. — Вы мне отвечаете за него головой.

Сесар Монтеро снял с себя плащ, отдал его одному из полицейских и, не обращая никакого внимания на дождь и растерянность собравшихся на площади людей, зашагал между стражами порядка. В задумчивости смотрел алькальд ему вслед. Потом повернулся к толпе и, махнув рукой, словно отпугивая кур, прокричал:

— Разойдись!

Вытирая рукой пот с лица, алькальд прошел через площадь и вошел в дом Пастора.

В кресле, сжавшись, лежала мать убитого. Обступив ее, несколько женщин с яростным рвением обмахивали ее веерами. Уступая проход какой-то женщине, алькальд сказал:

— Ей нужен воздух.

Обернувшись, та ответила:

— Она только собралась на мессу...

— Хорошо-хорошо, — сказал алькальд, — но сейчас дайте ей дышать.

Пастор лежал ничком в коридоре, головой к голубятне, на полу, устланном слоем окровавленных перьев. Повсюду — резкий запах птичьего помета. Несколько мужчин пытались поднять труп с пола, и тут на пороге внезапно вырос алькальд.

— Освободите помещение! — приказал он.

Мужчины снова положили убитого на перья в том же положении, в каком и нашли его, и, не говоря ни слова, отошли назад. Бегло осмотрев тело, алькальд перевернул его, — оно все было в мелких перышках; на животе, ближе к поясу, склеенные теплой, еще живой кровью перья сбились в большой ком. Алькальд смахнул его рукой. Рубаха была разодрана, а ременная пряжка разломана на куски. Рана уже не кровоточила.

— Беднягу угробили из ружья, с каким только на ягуара и ходить, — заметил один из мужчин.

Алькальд встал, обтер руки от окровавленных перьев о стойку

голубятни, а потом, не отрывая взгляда от тела, вытер руку о пижамные брюки и, обратившись к собравшимся, предупредил:

— Не трогайте его.

— Он так и будет лежать, что ли? — спросил один из мужчин.

— Нужно оформить опознание убитого, — ответил алькальд.

В доме заголосили женщины. Сквозь всхлипы, рыдания и удушливые запахи, не дававшие, казалось, воздуху доступа, алькальд направился к выходу и у двери столкнулся с падре Анхелем.

— Он умер! — оторопело воскликнул падре.

— Как собака, — ответил алькальд.

Дома, окаймлявшие площадь, были открыты. Дождь уже прекратился, но плотное, как войлок, небо низко висело над крышами, не оставляя ни единой лазейки для солнца. Взяв алькальда под руку, падре Анхель задержал его.

— Сесар Монтеро — человек добрый, — сказал он, — и все это произошло, должно быть, из-за помрачения рассудка.

— Вы правы, падре, — нетерпеливо сказал алькальд — Но не беспокойтесь, с ним ничего не случится. Идите в дом, вы нужны там.

Алькальд приказал полицейским снять пост у дверей, а сам решительно зашагал прочь. Тут державшаяся поодаль толпа прихлынула к дому Пастора. Алькальд вошел в бильярдную: здесь его ждал полицейский со сменой чистой одежды — лейтенантской формой.

В это время бильярдная обычно не работала. Но сегодня, хотя еще не было и семи, она была уже набита битком. У четырехместных столиков или же прямо у стойки несколько мужчин прихлебывали кофе. Большинство были еще в пижамах и домашних тапочках. Алькальд при всех разделся, вытерся до пояса пижамными брюками и молча стал одеваться, прислушиваясь к разговорам и комментариям посетителей. Когда он выходил из бильярдной, в голове его уже в мельчайших подробностях сложилась четкая и достоверная картина случившегося.

— Любого, кто будет мутить воду в городе, упрячу в каталажку, — с порога крикнул он публике. — Так и знайте!

Не отвечая на приветствия, он пошел по булыжной мостовой, прекрасно понимая, насколько сейчас взвинчен народ. Был он молод, легок в движениях, и каждый его шаг выдавал в нем человека, способного заставить себя уважать.

В семь часов, дав прощальный гудок, покинули причал три судна, совершавшие грузовые и пассажирские рейсы три раза в неделю, но на этот раз внимания на них никто не обратил. Алькальд прошел по галерее, где

сирийские торговцы уже начинали раскладывать многоцветье своего товара. Доктор Октавио Хиральдо, врач без определенного возраста, с головой, усеянной напомаженными бриолином завитками волос, из дверей своего кабинета наблюдал за отплытием судов. На нем тоже была пижама и домашние тапочки.

— Доктор, — сказал алькальд, — одевайтесь: нужно сделать вскрытие.

Медик заинтересованно посмотрел на него и, обнажив ряд белых и крепких зубов, сказал:

— Значит, сейчас будем делать вскрытие, — и добавил: — О, вы делаете явные успехи!

Алькальд попытался улыбнуться, но больная щека напомнила ему о себе, и он прикрыл рукой рот.

— Что с вами?

— Проклятый зуб.

Доктор Хиральдо явно был расположен почесать языком, но алькальд торопился.

В конце мола он постучался в дом с тростниковыми, не мазанными глиной стенами; его крытая пальмовой листвой крыша почти касалась воды. Отворила дверь ему босоногая женщина на седьмом месяце беременности, с зеленоватой кожей. Алькальд отстранил ее и ступил в полумрак небольшой гостиной.

— Судья, — позвал он.

Шаркая деревянными башмаками, в проеме внутренней двери появился судья Аркадио, он был, если не считать висевших ниже пупка тиковых штанов, почти раздет.

— Одевайтесь, нужно оформить опознание трупа, — сказал алькальд.

Судья удивленно присвистнул:

— С чего бы это?

Алькальд, не останавливаясь, прошел прямо в спальню.

— На этот раз — дело нешуточное, — сказал он, открывая окно, чтобы проветрить спертый после сна воздух. — Лучше делать дела хорошо!

Он вытер руки о брюки и без тени иронии спросил:

— Вы знаете, как оформляется опознание трупа?

— Естественно, — ответил судья.

Подойдя к окну, алькальд осмотрел руки повнимательней. И снова, обращаясь к судье, без малейшего намерения как-то его уколоть, сказал:

— Вызовите своего секретаря и объясните ему все, как и что оформить.

Затем он повернулся к женщине и показал ей ладони, — они были в

крови.

— Где можно помыть руки?

— В патио, — сказала та.

Алькальд вышел во двор. Женщина вынула из сундука чистое полотенце и завернула в него душистое туалетное мыло.

Она вышла во двор, но алькальд уже возвращался в спальню, стряхивая с рук капли воды.

— А я несу вам мыло, — сказала она.

— Ничего, и так сойдет, — откликнулся алькальд.

И, вновь глянув на ладони, взял полотенце; поглядывая на судью Аркадио, вытер в задумчивости руки.

— Он весь был в голубиных перьях, — сказал он.

Ожидая, пока судья Аркадио оденется, алькальд уселся на кровати и малыми глотками выпил чашечку черного кофе. Женщина проводила их через всю гостиную до самого порога.

— Пока вы не вырвете этот зуб, опухоль не спадет, — сказала она алькальду.

Подталкивая судью Аркадио на улицу, он, обернувшись к ней и коснувшись указательным пальцем топорщившегося живота, спросил:

— А у тебя эта опухоль когда спадет?

— Совсем скоро, — ответила женщина.

* * *

Падре Анхель отказался от привычной вечерней прогулки. После похорон он задержался в нижних кварталах города и долго беседовал там в одном из домов. Чувствовал он себя хорошо, хотя обычно продолжительные дожди вызывали у него боли в позвоночнике. Когда он добрался до своего дома, уличное освещение было уже включено.

Тринидад поливала цветы в крытом переходе. Падре спросил ее о еще неосвященных облатках, та ответила, что отнесла их на главный алтарь.

Едва падре включил свет, его тут же окутало комариное облако. Прежде чем закрыть дверь, падре решил обработать жилище инсектицидами; не переставая чихать от острого запаха и дыма, он постарался побыстрее окурить всю комнату. И когда закончил, был весь в поту. Сменив черную сутану на белую — а ее он носил только дома, — падре пошел помолиться Деве Марии.

Вернувшись в комнату, он поставил на огонь сковороду, бросил на нее

кусочек мяса и, нарезая лук толстыми кольцами, стал его жарить. Затем все это выложил на тарелку, где еще с обеда лежали кусочек недожаренной юкки^[3] и немного остывшего риса. Он поставил тарелку на стол и принялся за еду.

Ел он все одновременно, отрезая небольшие кусочки и накладывая их потом ножом на вилку. Жевал добросовестно: плотно закрыв рот, тщательно перетирая пищу своими зубами с серебряными пломбами. Пережевывая очередной кусочек, он клал вилку и нож на край тарелки и обводил комнату медленным изучающим взглядом. Прямо против него стоял шкаф с объемистыми томами приходского архива, в углу — плетеная качалка с высокой спинкой, к ней был пришит валик для головы. За качалкой — ширма, а за ней висело распятие, рядом с календарем, рекламирующим микстуру от кашля. За ширмой падре и спал.

К концу трапезы падре Анхель почувствовал удушье. Развернув пирожное из гуайявы^[4], он налил полный стакан воды и, уставившись на календарь, принялся есть сахаристую массу. Каждый кусочек пирожного он, не отрывая от календаря взгляда, запивал водой. И наконец отрыгнул и вытер губы рукавом. Вот так ел он уже девятнадцать лет: один в своей комнате, повторяя изо дня в день со скрупулезной точностью каждое свое движение. И никогда в нем не шевельнулось чувство неловкости за свое одиночество.

Помолившись Деве Марии, Тринидад попросила у падре денег на мышьяк. И вновь — уже в третий раз — падре ей отказал, — под предлогом того, что мышеловок для этого дела вполне достаточно. Но Тринидад продолжала настаивать:

— Дело в том, падре, что самые маленькие мышата уносят сыр: их ведь мышеловка не берет. Поэтому сыр лучше отравить.

Доводы Тринидад убедили падре, но сказать, что даст денег на мышьяк, он не успел: в покойную тишину церкви ворвались оглушительные звуки из динамика кинотеатра напротив. Сначала послышался глухой хрип, потом — царапанье иглы о пластинку, и сразу же — мамбо с пронзительным соло трубы.

— А что, сегодня будет кино?

Тринидад ответила «да».

— А что за картина?

— «Гарзан и зеленая богиня», — ответила Тринидад. — Та, которую из-за дождя не досмотрели в воскресенье. Ее разрешено смотреть всем.

Падре Анхель прошел в звонницу, послышались двенадцать

размеренных ударов. Тринидад была в замешательстве.

— Вы ошиблись, падре, — воскликнула она, всплеснув руками; глаза ее удивленно сверкали. — Эта картина разрешена всем. Вспомните: в воскресенье вы не звонили.

— Верно, но сегодня по отношению к пастве это было бы издевательством, — сказал падре, вытирая с шеи пот. И с одышкой повторил: — Да, издевательством.

Тринидад поняла.

— Нужно было видеть эти похороны, — сказал падре. — Все мужчины чуть было не перессорились за право нести гроб.

Некоторое время спустя он, отпустив служанку, затворил дверь, выходящую на опустевшую площадь, и потушил огни храма. Уже в крытом переходе, возвращаясь в спальню, хлопнул себя по лбу — вспомнил, что так и не дал Тринидад денег на мышьяк. Но, не войдя еще в свою комнату, он снова забыл об этом.

Вскоре он сел за стол, решив закончить начатое накануне вечером письмо. Расстегнув сутану до пояса, поправив лежащий на столе блокнот, придвинул к себе чернильницу и промокательную бумагу, шаря по карманам в поисках очков. Вспомнив, что они остались в другой сутане — в той, в какой он был на похоронах, — встал и пошел за ними. Он перечитал написанное накануне и хотел было начать новый абзац, как вдруг в дверь три раза постучали.

— Войдите.

На пороге стоял хозяин кинотеатра — тщедушный человек с бледным, хорошо выбритым лицом, на котором застыло выражение роковой обреченности. Он был в безупречно белом льняном костюме и двухцветных туфлях. Приглашая садиться, падре Анхель указал ему на плетеную качалку, но тот, вынув из брючного кармана платок, аккуратно его развернул, смахнул пыль со скамьи и сел на нее, широко раздвинув ноги. Только тут падре Анхель понял, что на поясе у пришедшего висит не револьвер, как ему показалось вначале, а карманный фонарик.

— К вашим услугам, — произнес падре.

— Падре, — заговорил хозяин кинотеатра, почти не переводя дыхания, — извините, что я вмешиваюсь в ваши дела, но сегодня, вероятно, произошла ошибка.

Падре кивнул головой и стал слушать дальше.

— «Тарзана и зеленую богиню» могут смотреть все, — продолжал говорить хозяин кинотеатра. — В воскресенье вы с этим были согласны.

Падре попытался было перебить его, но тот поднял руку, давая понять,

что сказал еще не все.

— В принципе я не против запретов, — сказал он, — ведь и в самом деле бывают картины аморальные. Но в этой ничего такого нет. Мы даже думали пустить ее в субботу — на детском сеансе.

Тогда падре Анхель объяснил: действительно, что касается моральной стороны, фильм не имеет никаких замечаний в списке, присылаемом ему ежемесячно по почте.

— Но показывать фильм сегодня, — продолжил он, — когда в городе убит человек, — это акт неуважения к его памяти. А ведь это тоже аморально.

Хозяин кинотеатра пронзительно посмотрел на него.

— В прошлом году полиция убила человека в кинотеатре, и, как только тело вынесли, фильм пустили дальше! — воскликнул он.

— Сейчас — другое дело, — сказал падре, — сейчас алькальда словно подменили.

— Начнется новая предвыборная кампания — снова будет бойня, — с ожесточением возразил хозяин кинотеатра. — Сколько себя помню, в этом городе всегда было так.

— Посмотрим, — откликнулся падре.

Хозяин кинотеатра смотрел на падре во все глаза, в них сквозила плохо скрываемая досада. Но когда он вновь заговорил, потряхивая на груди рубашку, чтобы как-то умерить зной, в его голосе зазвучали просительные нотки.

— За этот год это всего третья разрешенная картина, — сказал он, — а в воскресенье из-за дождя три части так и остались недосмотренными. И многие хотят знать, чем все кончится.

— Но колокол уже прозвонил, — возразил падре. Хозяин кинотеатра вздохнул с сожалением. И, в упор глядя на падре, медлил, словно на что-то надеялся, уже не в состоянии больше ни о чем думать, кроме как о жуткой жаре, не дававшей ему покоя в этой комнате.

— В таком случае ничего не изменишь?

Падре Анхель покачал головой.

Хозяин кинотеатра хлопнул ладонями по коленям и поднялся.

— Ну ладно, — сказал он, — на нет и суда нет.

Он снова аккуратно сложил свой носовой платок, вытер на шее пот и, окинув комнату горьким укоризненным взглядом, сказал:

— У вас суций ад!

Падре проводил его до двери, задвинул засов и сел заканчивать письмо. Прочитав его еще раз с начала, он дописал незавершенный абзац и

в задумчивости остановился. Тут музыка, доносившаяся из динамика, вдруг прекратилась. «К сведению уважаемой публики! — заговорил бесстрастный голос. — В связи с тем, что наш кинотеатр присоединяется к трауру, его администрация выражает соболезнование семье покойного и объявляет, что вечерний сеанс сегодня отменяется». Узнав голос хозяина кинотеатра, падре Анхель улыбнулся.

Жара становилась все нестерпимей. Священник продолжал писать без перерыва, ненадолго останавливаясь лишь для того, чтобы вытереть пот и перечитать написанное; вскоре он исписал уже два листа. Едва он поставил под письмом подпись, как неожиданно разразился дождь. Поднимавшийся от влажной земли пар стал просачиваться в комнату. Падре Анхель надписал конверт, закрыл чернильницу и хотел было сложить письмо. Но, пробежав еще раз глазами последний абзац, снова открыл чернильницу и сделал приписку: «Снова льет дождь. Такая зима и все то, о чем я рассказал выше, сулят нам, как мне думается, горькие дни».

II

В пятницу рассвет был теплый и сухой. Познав однажды прелести любви, судья Аркадио с тех пор стал налево и направо похвалиться своей способностью заниматься любовью три раза за ночь; однако в это утро, в самый пикантный момент, шнуры москитника лопнули и судья вместе с женой, запутавшись в пологе, рухнули на пол.

— Оставь все так, — пробормотала она. — Я этим займусь потом.

Абсолютно голые, они выбрались наконец из-под складок москитника, напоминавшего расплывчатый сгусток тумана. Судья Аркадио направился к сундуку за чистыми трусами. Когда он вернулся, жена была уже одета и приводила москитник в порядок. Не глядя на нее, он прошел мимо и, сев на другой конец кровати, стал обуваться; из-за того, что только что занимался любовью, он еще тяжело дышал. Но жена от него не отвязалась: она подошла к нему, прижалась своим круглым и упругим животом к его руке, пытаясь зубами ухватить его за ухо. Но он мягко отстранил ее.

— Оставь меня в покое, — сказал он.

В ответ она прыснула заразительным и здоровым смехом и, тыча его в спину пальцем, проследовала за мужем в другой конец комнаты, выкрикивая: «Но, ослик!» Он резко отстранился и оттолкнул ее руки. Тогда она оставила его в покое и снова засмеялась. И вдруг, посерьезнев, закричала:

— Господи Боже мой!

— В чем дело? — спросил он.

— Дверь-то была настезь! Какой стыд!

И, покатываясь со смеху, пошла в душевую.

Судья Аркадио не стал дожидаться кофе. Освежив рот мятной зубной пастой, он вышел на улицу. Солнце пламенело медью. Сидя у дверей своих магазинчиков и лавчонок, сирийцы созерцали спокойную гладь реки. Проходя мимо дома доктора Хиральдо, судья провел ногтем по металлической решетке двери и, не останавливаясь, крикнул:

— Доктор, какое самое лучшее средство от головной боли?

Изнутри врач ответил:

— Не пить накануне вечером.

У пристани несколько женщин громко обсуждали содержание появившейся в эту ночь анонимки. С самого утра день установился ясный, без дождя, поэтому направлявшиеся к пятичасовой мессе женщины смогли

ее легко прочесть. И теперь весь городок был в курсе. Судья Аркадио не останавливался, он чувствовал себя словно бык с кольцом в носу, — какая-то неведомая сила так и тянула его за это кольцо в бильярдную. Едва войдя, он попросил себе ледяного пива и таблетку от головной боли. Только что пробило девять, но в заведении уже было полным-полно народу.

— У всех в городе — головная боль, — изрек судья Аркадио.

Взяв свою бутылку, он направился к столику, за которым в растерянности сидели перед стаканами пива трое мужчин. Судья сел на свободное место.

— Ну что? Все по-старому? — спросил он.

— Сегодня утром нашли четыре.

— Про Ракель Контрерас прочитали уже все.

Судья Аркадио разжевал таблетку и запил ее пивом прямо из бутылки. Первый глоток вызвал тошноту, второй пошел уже привычно по оживающему желудку, и судья почувствовал себя заново родившимся, человеком без прошлого.

— Что же в ней было?

— Глупости, — сказал мужчина. — Что в этом году она ездила не зубы пломбировать, а делать аборты.

— Тут анонимку писать незачем, — заметил судья Аркадио, — об этом и так все судачат.

Когда судья вышел из бильярдной, солнечный свет был настолько яркий, что до слез слепил глаза, но головная боль уже не мучила судью Аркадио. И он направился прямо в суд. Его секретарь, неряшливый сухопарый старик, ощипывая курицу, бросил на него поверх оправы очков удивленный взгляд:

— Явление Христа народу!

— С этими анонимками нужно что-то делать.

Шаркая домашними туфлями, секретарь вышел во двор и через изгородь передал наполовину ощипанную курицу поварихе из гостиницы. Минуло одиннадцать месяцев со дня назначения на должность судьи Аркадио, но только сегодня он впервые сел за свой служебный стол.

Деревянная перегородка делила полуразвалившееся помещение на две части. В передней части, под картиной, изображавшей Правосудие — богиню с повязкой на глазах и весами в руке, — стояла деревянная скамья. Во второй, внутренней части — друг против друга стояли пара старых письменных столов, этажерка с покрытыми пылью книгами и пишущая машинка. На стене, прямо над судейским столом, — медное распятие. На противоположной стене — литография в рамке, изображавшая лысого

улыбчивого толстячка с президентской лентой через грудь, а под ним — золотая надпись: «Мир и Справедливость». Литография эта была единственным новым предметом в конторе.

Прикрыв лицо носовым платком, секретарь стал стряхивать перьевой сметкой пыль с письменных столов.

— Если вы не закроете нос, пыль вам не даст дышать, — заметил он судье.

Но совет секретаря был оставлен без внимания. Судья откинулся назад во вращающемся кресле и, опробуя пружины, вытянул ноги.

— Кресло не падает? — спросил он.

Секретарь отрицательно покачал головой.

— Когда убивали судью Вителу, — сказал он, — пружины выскочили. Но сейчас кресло отремонтировали. — И, не снимая платка, добавил: — Алькальд лично приказал его отремонтировать, когда сменилось правительство и повсюду стали появляться всякие особые осведомители.

— Алькальд хочет, чтобы наша контора работала, — сказал судья.

Выдвинув средний ящик, он вынул из него связку ключей, затем один за другим открыл другие ящики, — они были набиты бумагами. Пролистав бумаги, судья бегло их просмотрел и, убедившись, что в них нет ничего достойного его внимания, закрыл все ящики. Затем привел в порядок настольный письменный прибор, состоящий из хрустальной чернильницы с двумя углублениями для чернил, одно — красное, другое — синее, и пары ручек тех же цветов. Чернила уже высохли.

— Вы пришли к алькальду по нраву, — сказал секретарь.

Покачиваясь в кресле, судья с мрачным видом следил за тем, как тот смахивает пыль с обивки. Секретарь смотрел на него во все глаза, словно хотел запомнить его навсегда вот именно таким, в таком вот положении и при таком освещении. И тыча в его сторону указательным пальцем, сказал:

— Вот именно в таком положении, как вы сидите сейчас, и пришили судью Вителу.

Судья прикоснулся пальцами к вздувшимся на висках венам: головная боль возвращалась.

— А я был вон там, — продолжал рассказывать секретарь, указывая на пишущую машинку и выходя из-за перегородки.

Тут он оперся о ее перила и, все так же тараторя без умолку, прицелился, словно из винтовки, сметкой в судью Аркадио; в этот миг секретарь походил на грабителя почтовых поездов из какого-нибудь ковбойского фильма.

— Войдя, трое полицейских стали вот так, — изобразил он. — А судья

Витела, как только их увидел, сразу же поднял руки и медленно так проговорил: «Не убивайте меня!» Но они — бабах! Кресло — туда, он — сюда. Короче, валяется весь набитый свинцом.

Судья Аркадио обхватил голову руками — он чувствовал, как под его пальцами пульсирует кровь. Секретарь снял с лица платок, а сметку повесил за дверь.

— И все это произошло потому, что по пьянке брякнул, что он, мол, здесь для того, чтобы гарантировать чистоту выборов, — подытожил секретарь.

Он в недоумении умолк, глядя на скрючившегося над письменным столом судью Аркадио, сжимавшего голову руками:

— Вам совсем хреново?

Судья сказал «да» и, рассказав секретарю о прошедшей ночи, попросил, чтобы тот принес из бильярдной болеутоляющее и две бутылки ледяного пива. Когда с первой бутылкой было покончено, в сердце судьи не осталось и следа от былых мучений. Он сиял, как чисто вымытое стекло.

Секретарь сел за машинку.

— Чем же теперь мы займемся? — спросил он.

— Ничем, — был ему ответ.

— Ну тогда, с вашего разрешения, я пойду к Марии и помогу ей ощипать кур.

Тут судья возразил.

— Это учреждение правосудия, а не ошипа кур, — сказал он. И, окинув с головы до пят своего подчиненного сочувственным взглядом, добавил: — Кроме того, вам следует снять эти домашние тапочки и явиться на службу в туфлях.

Ближе к полудню зной сделался еще сильнее. Когда пробило двенадцать, судья Аркадио одолел уже дюжину бутылок пива. Он погрузился в омут воспоминаний. Сладким мечтательным голосом рассказывал он о беззаботном прошлом, о бесконечных воскресеньях на берегу моря и ненасытных мулатках, занимающихся любовью стоя прямо у двери гостиной. «Такая вот была тогда жизнь», — приговаривал он, щелкая пальцами перед изумленным лицом секретаря, слушавшего не проронив ни слова, а лишь одобрительно кивая головой. Судья Аркадио чувствовал себя не в своей тарелке, но чем глубже он уходил в воспоминания, тем оживленнее становился.

Когда на колокольне пробило час, секретарь стал проявлять признаки нетерпения.

— Ох, суп стынет, — заволновался он.

Но судья не позволил ему встать.

— Не каждому в этом забытом Богом городке повезет встретиться с таким компетентным человеком, как я, — сказал он.

И изнывающему от жары секретарю ничего не оставалось, кроме как поблагодарить судью и поменять позу в кресле. Пятница, казалось, никогда не кончится. В духоте под раскаленной кровлей крыши судья и секретарь проговорили еще полчаса, а в это время остальные жители городка вовсю варились в бульоне сиесты. Уже на грани обморока секретарь намекнул об анонимках. Судья Аркадио пожал плечами.

— Ты ведь в курсе этих дебильных выходок, — сказал он, впервые обращаясь к секретарю на «ты».

У изрядно проголодавшегося секретаря не было ни желания, ни сил тянуть лямку разговора, но он анонимки дебильными выходками не считал.

— Уже есть один труп, — сказал он. — Если дела пойдут так дальше, то наступят совсем недобрые времена. — И поведал затем историю о том, как один городок буквально за неделю был уничтожен анонимками. Жители сводили счеты, убивая друг друга. А оставшиеся в живых вырыли останки своей родни и уехали, увозя их с собой и желая никогда больше не возвращаться в родной город.

Медленно расстегивая рубашку, судья слушал его с издевательской насмешкой на лице. Секретарь, видимо, подумал он, большой любитель романов ужасов.

— Этот случай простецкий — прямо из детектива, — сказал он.

Его подчиненный отрицательно покачал головой. Тогда судья рассказал, что, учась в университете, состоял в одной организации, члены которой занимались разгадкой криминальных случаев. Кто-нибудь из них читал детективный роман до ключевого момента — близкого к развязке, а в субботу все собирались вместе и разгадывали концовку.

— И я ни разу не проиграл, — сказал он. — Конечно, мне помогло знание классиков, а они открыли логику, которая помогает раскрыть любую тайну.

И тут судья предложил своему подчиненному разгадать криминальную загадку: в десять вечера человек въезжает в отель, снимает номер, поднимается к себе, а наутро принеся ему кофе официантка находит его в кровати мертвым, в состоянии полного разложения. Вскрытие показывает: прибывший накануне вечером постоялец уже восемь дней как мертв.

Хрустнув суставами, секретарь привстал.

— Вы хотите сказать, что когда он приехал в отель, то уже восемь дней

был мертв? — подытожил секретарь.

— Рассказ был написан двенадцать лет тому назад, — сказал судья Аркадио, оставив без внимания то, что его пытались перебить, — но ключ к разгадке был дан Гераклитом еще за пять веков до рождения Христа.

Судья хотел было рассказать об этом ключе, но секретарь неожиданно обозлился.

— Испокон веков, сколько себя помню, никто не смог докопаться, кто же пишет эти анонимки, — категорически заявил он напряженно-агрессивным тоном.

Судья Аркадио исподлобья посмотрел на него.

— Спорим, что я узнаю! — сказал он.

— По рукам.

* * *

В доме напротив в душной спальне задыхалась Ребека Асис: уткнувшись головой в подушку, в эти невыносимые часы сиесты она тщетно пыталась уснуть. На ее висках лежали влажные, пропитанные благовониями листья.

— Роберто, — сказала она, обращаясь к мужу, — если ты не откроешь окно, мы умрем от жары.

Роберто Асис открыл окно именно в тот миг, когда судья Аркадио выходил из здания суда.

— Попытайся уснуть, — мягко посоветовал он пышнотелой жене, лежавшей, широко разметав руки, под розовым кружевным балдахинном в одной легкой нейлоновой рубашке. — Обещаю тебе, что ни о чем больше не буду напоминать.

Она вздохнула.

В эту ночь Роберто Асис не спал. Он ходил по спальне из угла в угол, не выпуская изо рта сигареты: прикуривал одну от другой. На рассвете вчерашнего дня он чуть было не застал на месте преступления автора анонимки. Он слышал: у дома зашелестела бумага, а потом раздался шорох — так разглаживают ладонями лист на стене. Но понял, увы, слишком поздно — анонимку уже наклеили. И когда распахнул окно, на площади никого не было.

С этого момента до двух часов сегодняшнего дня его жена только и делала, что находила все новые и новые доводы и способы убеждения, но тщетно старалась она успокоить своего мужа; и наконец, на второй день,

когда обо всем было уже переговорено, он пообещал ей никогда об этом не напоминать. Что-либо доказать мужу было невозможно, и она пошла на отчаянный шаг: чтобы убедить Роберто в своей невинности, согласилась исповедоваться падре Анхелю в присутствии мужа. Сам факт, что она готова пойти на такое унижение, говорил о многом. И, несмотря на затмевавший рассудок гнев, Роберто возразить не осмелился и был вынужден сдаться.

— Всегда лучше все обсудить начистоту, — сказала она, не открывая глаз. — Ведь было бы хуже, если бы ты все таил в себе.

Выходя из спальни, Роберто плотно прикрыл дверь. В полумраке просторного дома он уловил жужжание электрического вентилятора, работавшего в спальне его матери. Он открыл холодильник и налил себе стакан лимонада, повариха-негритянка следила за его движениями посоловевшими от сна глазами. Из своего обдуваемого сквозняком прохладного убежища она спросила, не будет ли он обедать. Роберто приподнял крышку кастрюли, там в кипящей воде плавала, брюшком кверху, черепаха. Впервые его не ужаснула мысль, что ее бросили туда живьем и ее сердце, видимо, еще будет биться, когда, вынув из панциря, ее подадут на стол.

— Я не хочу есть, — закрыв кастрюлю, сказал он. И с порога добавил: — Жена тоже обедать не будет. У нее целый день болит голова.

Дом Роберто и дом его матери соединялись между собой крытым переходом, вымощенным зелеными плитками. Из него хорошо был виден огороженный проволокой курятник в глубине общего двора. В проходе под навесом висело несколько клеток с птицами и было множество горшков с яркими цветами.

Спавшая во время сиесты в раскладном кресле семилетняя дочь встретила отца жалобными всхлипываниями. На ее щеке виднелся отпечаток льняной простыни.

— Скоро три часа, — негромко сказал Роберто. И меланхолично добавил: — Приходи же поскорей в себя.

— Во сне я видела стеклянного кота, — сказала девочка.

Легкая дрожь охватила его, и он никак не мог ее унять.

— Какой он был?

— Весь из стекла, — сказала дочь, пытаясь изобразить руками в воздухе форму увиденного во сне животного. — Как стеклянная птица, но только кот.

Его пронзило какое-то острое чувство: словно среди бела дня он заблудился в чужом городе. «Не вспоминай о происшедшем, — подумал он

про себя, — все это не стоит и выеденного яйца». Тут в проеме двери в спальню он увидел мать и почувствовал, что пришло спасение.

— Ты сегодня хорошо выглядишь, — произнес он.

В ответ на лице вдовы Асис появилась горькая гримаса.

— День ото дня я все больше гожусь для свалки, — пожаловалась она, собирая свои пышные, стального цвета волосы в узел. Она прошла к клеткам, чтобы сменить птицам воду.

Роберто Асис повалился в раскладное кресло, где только что спала его дочь. Положив руки за голову, он наблюдал своими стареющими глазами, как костлявая, вся в черном, его мать разговаривает вполголоса с птицами, а те, радостно хлопая крыльями, орошая ее лицо влажными каплями, устремляются к ней. Покончив с птичьими клетками, вдова Асис подошла к сыну, и тут он снова почувствовал: он тонет в омуте неуверенности.

— Ты работал в эти дни в горах? — спросила она.

— Нет, я там не был, — ответил он, — были кое-какие дела здесь.

— Теперь до понедельника ты здесь?

Он утвердительно прикрыл глаза. Босая чернокожая служанка прошла через зал, уводя дочь в школу. Вдова Асис, стоя возле сына, подождала, пока те ушли. Потом она сделала сыну знак, и тот последовал за ней в просторную спальню, где гудел электрический вентилятор. С видом крайней усталости она рухнула в стоявшую перед вентилятором расшатанную, плетенную из лиан качалку. На выбеленных известью стенах висели забранные в медные резные рамки фотографии давно состарившихся детей. Роберто Асис вытянулся на по-королевски пышной постели, где нашли свою смерть некоторые запечатленные на фотографиях дети, а в декабре прошлого года — их отец.

— Что случилось? — спросила вдова.

— Ты веришь всему, о чем судачат люди?

— В моем возрасте поверишь всему, — парировала вдова. И апатично спросила: — Так о чем же они говорят?

— О том, что Ребека Исабель — не моя дочь.

Вдова стала медленно раскачиваться.

— Нос у нее — Асисов, — сказала она. И потом, задумавшись на некоторое время, рассеянно спросила: — Кто говорит это?

Роберто Асис грыз ногти.

— Наклеили анонимку.

Только теперь вдова поняла: темные круги под глазами у ее сына — вовсе не от долгой бессонницы.

— Анонимки — не люди, — категорично заявила она.

— Но в них пишется то, о чем говорят все, — возразил Роберто Асис, — хотя ты сам об этом, может, и не догадываешься.

Она, однако, знала все, о чем в течение многих лет люди судачили по поводу их семьи. В таком, как их, доме, где всегда полным-полно народу: служанок, приемных дочерей и всякого люда, нуждающегося в протекции, — невозможно замкнуться в спальне и ничего не знать. Но даже и в спальне тебя настигали уличные сплетни. Неугомонные Асисы — основатели этого городка, — еще когда были они всего лишь свинарями, представляли излюбленную мишень для сплетен.

— Не все правда, что говорят, — сказала вдова, — хотя, конечно, кое-кто, может, и не догадывается.

— Все знают: Росарио Монтеро спала с Пастором, — ответил сын. — Свою последнюю песню он посвятил ей.

— Об этом ходили только сплетни, но наверняка не знал никто, — возразила вдова. — А сейчас стало известно: песня была посвящена Маргот Рамирес. Они собирались пожениться, — об этом никто не знал, кроме них двоих и матери Пастора. Быть может, и не стоило им так хранить свою тайну, которая, как оказалось, была единственной в этом городке.

Роберто Асис посмотрел на мать с вымученной улыбкой.

— Сегодня утром временами мне казалось, что я умру, — сказал он.

Но на вдову это не произвело никакого впечатления.

— Мужчины из рода Асисов ревнивы, — сказала она, — это самое большое несчастье нашего дома.

Они надолго замолчали. Время уже близилось к четырем, жара начала спадать. Когда Роберто выключил вентилятор, весь дом уже просыпался, наполнился женскими голосами и птичьим, похожим на звуки флейты, пением.

— Передай мне пузырек с ночного столика, — сказала вдова.

Она извлекла из него две круглые серые таблетки, похожие на искусственные жемчужины, и, возвращая пузырек сыну, сказала:

— Прими две, они помогут тебе уснуть.

Он принял их, запив водой, оставшейся в материнском стакане, и, положив голову на подушку, прилег на кровать.

Вдова вздохнула. О чем-то задумавшись, ненадолго умолкла. Потом, обобщая в масштабе всего городка, хотя на самом деле думала всего лишь о полудюжине семей своего круга, сказала:

— Весь ужас в том, что в этом городке, когда мужчины отправляются на работу в горы, женщины предоставлены самим себе.

Роберто Асис стал засыпать. Вдова смотрела на его небритый

подбородок, на длинный нос с острыми хрящеватыми крыльями, и мысли ее обратились к покойному мужу. Адальберто Асису тоже были знакомы приступы отчаяния. Это был горец исполинского роста, надевший целлулоидный воротник всего лишь однажды и на 15 минут: чтобы только попозировать перед фотоаппаратом; старое фото пережило его и теперь стояло на ночном столике. О нем ходили слухи, будто бы он убил в этой самой спальне любовника своей жены и тайно зарыл его во дворе. Но в действительности было нечто иное: Адальберто Асис застрелил обезьяньего самца, застав его в спальне на балке, когда тот мастурбировал, не сводя остановившихся глаз с его переодевавшейся супруги. Адальберто умер сорок лет спустя, так и не сумев опровергнуть возникшую легенду.

* * *

Падре Анхель поднялся по крутой, с редкими ступеньками лестнице. На втором этаже, в глубине коридора, стены которого были увешаны винтовками и подсумками, на полевой койке лежал полицейский и читал. Он настолько был поглощен чтением, что не заметил, как вошел падре, пока тот не поздоровался. Полицейский свернул журнал и сел.

— Что читаете? — поинтересовался падре Анхель.

Полицейский показал ему журнал:

— «Терри и пираты».

Падре внимательным взглядом окинул три железобетонные камеры без окон, от коридора они были отгорожены толстой железной решеткой. В средней камере, широко раскинув ноги, в одних трусах спал в гамаке второй полицейский, остальные две камеры были пусты. Падре Анхель спросил о Сесаре Монтеро.

— Он там, — сказал полицейский, мотнув головой в сторону закрытой двери. — В комнате начальника.

— Могу я с ним поговорить?

— Он изолирован, — ответил полицейский.

Падре Анхель настаивать не стал, а лишь спросил, в каких условиях содержится заключенный. Полицейский ответил, что его поместили в лучшее помещение казармы, с хорошим освещением и водой, но уже сутки, как он ничего не ест. Он ни разу не притронулся к еде, принесенной ему по указанию алькальда из гостиницы.

— Боятся, что отравят, — подытожил полицейский.

— Тогда нужно было принести ему еды из дому, — сказал падре.

— Он не хочет беспокоить жену.

Словно обращаясь к самому себе, падре пробормотал.

— Нужно об этом переговорить с алькальдом.

И он двинулся было в конец коридора, где алькальд приказал оборудовать себе бронированный кабинет с бронированной дверью.

— Его нет, — сказал полицейский. — Уже два дня он дома: мучится зубами.

Падре Анхель решил пойти к алькальду домой. Обессилев от боли, тот лежал в гамаке; рядом стоял стул, на стуле — кувшин с соленой водой, пакетик анальгетиков и пояс с подсумками и револьвером. Щека по-прежнему была опухшая. Падре Анхель подтащил стул поближе к гамаку.

— Вам нужно его выдрать, — сказал он.

Алькальд выплюнул соленую воду в тазик.

— Легко сказать, — буркнул он, не поднимая головы от тазика.

Падре Анхель понял и негромко сказал:

— Если вы мне разрешите, я поговорю с зубным врачом. — И, глубоко вздохнув, добавил: — Он человек понятливый.

— Понятливый, как осел, — прорычал алькальд. — Ему кол на голове теши, а он все будет стоять на своем.

Падре Анхель проводил его взглядом до умывальника, увидел, как алькальд открыл кран и подставил опухшую щеку под струю прохладной воды, — он стоял так некоторое время с выражением неопишуемого наслаждения на лице. Потом разжевал болеутоляющее и запил его тут же водой из-под крана.

— Я вполне серьезно, — продолжал настаивать падре, — я могу поговорить с зубным врачом.

Алькальд нетерпеливо отмахнулся:

— Делайте что хотите, падре.

Закинув руки за голову, алькальд лег в гамак и, закрыв глаза, часто задышал, подавляя в себе злость. Боль начала отступать. Когда он снова открыл глаза, падре Анхель все так же сидел около гамака и молча смотрел на него.

— Каким ветром вас сюда занесло, падре? — спросил алькальд.

— Сесар Монтеро, — откровенно сказал падре, — этому человеку нужно исповедаться.

— Он изолирован, — сказал алькальд. — Завтра, после юридических формальностей, можете его исповедать. В понедельник необходимо его отправить.

— Он в заключении уже двое суток, — заметил падре.

— А я с этим зубом — две недели, — выпалил алькальд.

В полумраке комнаты начали гудеть москиты. Падре Анхель посмотрел в окно и увидел: над рекой плывет ярко-розовое облако.

— А как быть с едой? — спросил он.

Алькальд вылез из гамака и пошел к балкону — закрыть дверь.

— Свой долг я исполнил, — ответил он. — Но Сесар Монтеро не хочет, чтобы беспокоили его жену, а гостиничную пищу не ест. — Алькальд принялся распылять в комнате инсектицид. Падре Анхель полез в карман за носовым платком, чтобы прикрыть нос, но вместо платка нащупал смятое письмо.

— Ах! — воскликнул падре, пытаясь пальцами разгладить письмо.

Алькальд остановился. Падре закрыл нос ладонью, но старания оказались напрасными: чихнул два раза.

— Чихайте, падре, чихайте на здоровье, — сказал алькальд. И, улыбнувшись, добавил: — У нас демократия.

Падре Анхель тоже улыбнулся. Показывая заклеенный конверт, сказал:

— Забыл опустить это письмо на почте.

Платок свой он все-таки нашел в рукаве и высморкался. Мысли его по-прежнему вертелись вокруг Сесара Монтеро.

— Он у вас как бы на хлеб и воду посажен, — сказал он.

— Если это ему нравится, — сказал алькальд. — Насильно кормить мы его не будем.

— Меня больше всего заботит его совесть, — сказал падре.

Не отнимая платка от носа, он не отрывал от алькальда взгляда, пока тот не кончил опрыскивать комнату.

— Должно быть, она у него не чиста, раз он боится, что его отравят, — сказал алькальд. Поставил опрыскиватель на пол и добавил: — Он знает, что Пастора любили все.

— Сесара Монтеро тоже, — парировал падре.

— Но мертв все-таки Пастор.

Падре посмотрел на письмо. Небо стало темно-лиловым.

— Пастор... — пробормотал он. — У него не было времени даже на исповедь.

Прежде чем лечь в гамак, алькальд включил свет.

— Завтра мне, думаю, будет лучше, — сказал он. — После юридических формальностей можете его исповедать. Это вас устроит?

Падре Анхель был согласен.

— Это ведь ради успокоения его совести, — подчеркнул он. Падре Анхель торжественно встал. Посоветовал алькальду не злоупотреблять

анальгетиками, а алькальд в ответ напомнил, чтобы падре Анхель не забыл отправить письмо.

— И еще, падре, — сказал алькальд, — постарайтесь поговорить с зубодером. — И, глядя, как священник спускается по лестнице, улыбаясь, добавил: — Все это будет содействовать укреплению мира.

Сидя у дверей почты, служащий отделения смотрел, как умирает закат. А когда падре Анхель отдал ему письмо, вошел в помещение, поклонившись языком пятнадцатисентавовую марку в счет уплаты авиатарифа и сбора на строительство и стал рыться в ящике письменного стола. Уже зажглось уличное освещение. Падре Анхель, положив несколько монет на перила, вышел не попрощавшись.

Служащий продолжал копаться в ящике. Вскоре, устав от поисков, он написал чернилами на краю конверта: «Нет пятисентавовых марок», подписался внизу и поставил штамп почтового отделения.

* * *

Вечером, после молебна, падре Анхель обнаружил мертвого мышонка в чаше со святой водой. Тринидад ставила мышеловки у края крестильной купели. Падре схватил мышонка за кончик хвоста.

— Это к добру не приведет, — сказал он Тринидад, покачивая перед ее лицом мертвым мышонком. — Разве ты не знаешь, что некоторые верующие берут святую воду с собой и дают ее пить больным?

— Ну и к чему вы все это говорите? — спросила Тринидад.

— Как — к чему? — возмутился падре. — Больные будут пить святую воду с мышьяком — это как пить дать!

Тринидад тут же напомнила ему, что падре еще не дал ей денег на мышьяк.

— А этот окочурился от гипса, — сказала она и объяснила, что посыпала гипсом в уголках церкви, — мышонок наелся гипса и вскоре, мучимый жаждой, попил из чаши со святой водой. А гипс от воды разбух в желудке и затвердел.

— Как бы то ни было, — сказал падре, — лучше уж тебе зайти лишний раз ко мне за деньгами, чем мне находить дохлых мышей в купели со святой водой.

В комнате его ожидала делегация дам-католичек с Ребекой Асис во главе. Дав Тринидад денег на мышьяк и извинившись за духоту в комнате, падре сел за свой рабочий стол, оказавшись лицом к лицу с тремя

хранившими молчание дамами:

— К вашим услугам, мои уважаемые сеньоры.

Дамы переглянулись. Тогда Ребека Асис раскрыла веер с изображенным на нем японским пейзажем и без обиняков заявила:

— Мы по поводу анонимок, падре.

С неискренней интонацией в голосе, словно пересказывая какую-то детскую сказочку, описала она тревогу, царящую в городе. Она сказала, что хотя смерть Пастора следует рассматривать как «сугубо личное дело», но уважаемые семейства города считают, что нельзя оставить анонимки без внимания.

Опираясь на ручку своего зонтика, Адальхиса Монтойя, самая старшая из трех, выразилась еще точнее:

— Мы, дамы-католички, решили в этом вопросе взять дело в свои руки.

Несколько секунд падре Анхель пребывал в раздумье. Ребека Асис глубоко вздохнула, а падре задался вопросом: почему от этой женщины исходит столь знойный запах. Вся она — великолепие и цветение ослепительно белой кожи, здоровья и страсти. Уставившись куда-то в одну точку, падре заговорил:

— На мой взгляд, мы не должны обращать внимания на глас, сеющий смуту. Мы должны быть выше всех этих недостойных дел и продолжать соблюдать заветы Господа Бога, как и раньше.

Адальхиса Монтойя одобрительно кивнула головой, но остальные дамы не согласились: они считают, что «это бедствие может повлечь за собой пагубные последствия». В этот момент кашлянул громкоговоритель кинотеатра. Падре Анхель хлопнул себя по лбу.

— Извините, — сказал он, роясь в ящике стола в поисках списка кинофильмов, присланного католической цензурой.

— Что сегодня показывают?

— «Пираты космоса», — сказала Ребека Асис. — Это про войну.

Бормоча названия фильмов, падре Анхель искал в алфавитном порядке, проводя указательным пальцем по длинному списку фильмов. Перевернув страницу, остановился:

— «Пираты космоса»!

Затем он провел пальцем горизонтально, чтобы отыскать моральную классификацию фильма; в это время, вместо ожидаемой пластинки, раздался голос хозяина кинотеатра, объявляющего об отмене сеанса в связи с плохой погодой. Одна из женщин объяснила, что хозяин кинотеатра принял это решение в связи с тем, что зрители требуют возврата денег, если

дождь начнется во время фильма.

— Жаль, — сказал падре Анхель, — этот фильм разрешен для всех. — Закрыв тетрадь, он продолжил: — Как я не раз вам говорил, жители нашего городка — люди богопослушные. Девятнадцать лет тому назад, когда я принял этот приход, существовало одиннадцать почтенных семей, состоявших в светском браке. А сейчас только одна, и надеюсь, ненадолго.

— Не мы тому виной, — сказала Ребека Асис. — Но бедняки...

— Никаких причин для беспокойства нет, — продолжил падре, не обращая внимания на попытку перебить его. — Нужно уметь увидеть, как изменился наш городок. В те давние времена одна русская балерина устроила в галерее представление только для мужчин, а в конце объявила публичную распродажу всего того, что было на ней.

Адальхиса Монтойя решила вставить слово.

— Да, так все и было, — сказала она.

Она знала о том скандале так, как ей о нем рассказывали: когда балерина осталась совсем голой, какой-то старик на галерке принялся что-то кричать, потом подошел к перилам и помочился прямо на публику. Ей рассказывали, что и другие мужчины, следуя примеру старика, стали в конце концов мочиться друг на друга — в неопишуемой обстановке безумных воплей и визгов.

— Теперь, — продолжил падре, — доказано, что жители нашего городка самые богопослушные в апостолической префектуре.

Он оседлал своего любимого конька. Заговорил о трудной своей борьбе со слабостями и пороками рода человеческого и настолько увлекся, что уже не замечал: изнемогавшие от жары дамы-католички перестали обращать на него внимание. Ребека Асис вновь раскрыла свой веер, и только тут падре Анхель догадался, в чем источник ее сногшибательного аромата. В сонном и душном воздухе комнаты запах сандалового дерева явил все свое великолепие. Падре извлек из рукава носовой платок и поднес его к носу, боясь чихнуть.

— И в то же самое время, — продолжил он, — наш храм — самый бедный в апостолической префектуре: колокола треснули, помещение церкви кишмя кишит мышами, ведь всю свою жизнь я положил только на воспитание нравственности и добрых нравов. — Он расстегнул воротник. — Любой юноша способен без подготовки выполнять физическую работу, — сказал он, поднимаясь со своего места. — Но, однако, необходимы многолетнее упорство и опыт, чтобы восстановить нравственность.

Ребека Асис подняла свою лилейную руку, увенчанную обручальным

кольцом и перстнем с изумрудами.

— Поэтому, — сказала она, — мы и пришли к мысли, что эти грязные анонимки сведут на нет все ваши труды.

Единственная до сих пор молчавшая женщина воспользовалась паузой, чтобы сказать пару слов:

— Кроме того, мы считаем, что сейчас наша страна восстанавливает силы, а зло, существующее в нашем городе, может послужить тормозом на пути прогресса.

Падре Анхель нашел в шкафу веер и стал церемонно им обмахиваться.

— Не следует путать одно с другим, — сказал он. — Мы пережили тяжелейший политический кризис, но семейная мораль осталась неизблемой. — Он горделиво остановился перед тремя женщинами. — Через несколько лет я приду и скажу апостолическому префекту: вот, оставляю вам образцовый город, и сейчас только нужно послать туда молодого и предприимчивого священника для создания лучшей в префектуре церкви. — И, слегка поклонившись, воскликнул: — Тогда я могу спокойно умереть и лечь рядом с моими предками.

Дамы запротестовали. Адальхиса Монтойя выразила общее мнение:

— Падре, считайте этот город своим. И мы хотим, чтобы вы здесь оставались до смертного часа.

— Если речь идет о строительстве новой церкви, — сказала Ребека Асис, — мы можем начать кампанию прямо сейчас.

— Всею свое время, — возразил падре Анхель. — А потом, совсем другим тоном, добавил: — Как бы то ни было, мне бы не хотелось стариться на глазах у моей паствы. Мне бы не хотелось, чтобы со мною произошло то же, что и со смиренным Антонио Исабелем, священником храма Святого причастия и алтаря Кастанеды и Монтеро. Сей слуга Божий сообщил епископу, что в его приходе идет дождь из мертвых птиц. Посланец епископа нашел его на площади городка: тот играл с детьми в разбойников и полицейских.

Дамы выразили свое изумление:

— О ком вы говорите?

— О приходском священнике, занявшем мое место в Макондо, — сказал падре Анхель. — Ему было сто лет.

III

Зима, суровость которой предвещали последние дни сентября, показала свой жестокий нрав уже в конце той недели. Все воскресенье алькальд провел в гамаке, глотая болеутоляющие таблетки; река уже вышла из берегов и затопила дома в нижних кварталах.

На рассвете в понедельник, когда дождь впервые сделал передышку, жителям городка потребовалось несколько часов, чтобы осознать это. Рано утром открылись только бильярдная и парикмахерская; в большинстве домов двери отворились лишь в одиннадцать. Сеньор Кармайкл был первым в числе тех, кому довелось увидеть — и он содрогнулся от этого зрелища — несчастных людей, перетаскивающих свои дома подальше от реки — вверх. Выдергивая из грунта угловые опоры, взбудораженные толпы переносили свои нехитрые жилища целиком — прямо с пальмовыми крышами и тростниковыми стенами.

Укрывшись с раскрытым зонтиком под козырьком парикмахерской, сеньор Кармайкл наблюдал за усердной деятельностью жителей, как вдруг голос парикмахера вернул его из абстрактной созерцательности в суровую действительность.

— Им следовало бы переждать, пока не прекратится дождь, — сказал парикмахер.

— В ближайшие два дня не прекратится, — сказал сеньор Кармайкл, закрывая зонтик. — Это мне подсказывают мои больные суставы.

Проваливаясь по щиколотки в грязь, люди, тащившие на своем горбу жилище, прошли совсем рядом, задевая своим домом стены парикмахерской. В окно дома сеньор Кармайкл увидел изуродованные внутренности жилья, лишённую своей сокровенной тайны спальню, и его захлестнуло чувство надвигающейся беды.

Казалось, что еще шесть часов утра, но его желудок красноречиво свидетельствовал, что время близится к двенадцати. Сириец Моисей пригласил его войти в лавку и переждать, пока не кончится ливень. Сеньор Кармайкл повторил свой прогноз: в ближайшие сутки ливень не прекратится. И прежде чем перепрыгнуть на соседний тротуар, он постоял немного в нерешительности. Ватага мальчишек, игравшая в войну, бросила ком глины: он расплющился на стене рядом — в нескольких метрах от свежетыглаженных брюк. Из своей лавки с метлой в руках выскочил сириец Элиас и покрыл их изощренной арабско-испанской бранью.

Ребята запрыгали и ликующе закричали:

— Турок — объелся булок, турок — объелся булок.

Убедившись, что его одежда осталась безупречно чистой, сеньор Кармайкл закрыл зонтик, вошел в парикмахерскую, прошел прямо к креслу и сел.

— Я всегда говорил, что вы человек разумный, — сказал парикмахер.

Он завязал ему на шее простыню. Сеньор Кармайкл вдохнул запах лавандовой воды, — это было так же неприятно, как и запахи в стоматологическом кабинете. Парикмахер принялся подравнивать волосы на затылке, а неугомонный Кармайкл искал глазами, что бы почитать.

— Газет нет?

Не прерывая работы, парикмахер ответил:

— В стране остались только официальные газеты, и, пока я жив, их в этом заведении не будет.

Сеньору Кармайклу пришлось довольствоваться созерцанием своих потрескавшихся туфель, но тут парикмахер спросил его о вдове Монтъель. Сеньор Кармайкл как раз шел от нее. Проработав много лет у дона Чепе ^[5] Монтъеля бухгалтером, Кармайкл после смерти хозяина стал у вдовы управляющим.

— У нее все в порядке.

— Кто из кожи лезет вон, убивается, — сказал парикмахер, словно рассуждая с самим собой, — а эта — одна-одинешенька, а земли у нее столько, что за пять дней на лошади не объедешь. Она ведь хозяйка десяти муниципий ^[6].

— Трех, — поправил его сеньор Кармайкл и убежденно добавил: — Она — самая добропорядочная женщина в мире.

Парикмахер направился, чтобы вымыть расческу, к туалетному столику. Сеньор Кармайкл увидел в зеркале его козлоподобное лицо и лишний раз осознал, почему не уважает парикмахера. Рассматривая себя в зеркале, парикмахер продолжал говорить:

— Хорошенькое дельце: моя партия — у власти, полиция угрожает моим политическим противникам физической расправой, а я, пользуясь этим, скупаю у них земли и скот по мною же установленным ценам.

Сеньор Кармайкл опустил голову. Парикмахер вновь принялся его стричь.

— Проходят выборы, а я становлюсь хозяином трех муниципий, — подытожил он, — без каких-либо конкурентов. И кстати, если даже будет другое правительство, у меня все уже схвачено. Слушайте сюда: лучшего

дельца не придумаешь, даже не надо деньги подделывать.

— Хосе Монтель разбогател давным-давно — еще до этой политической грызни, — сказал сеньор Кармайкл.

— Ну конечно, сидя в трусах у дверей рисового склада. Как свидетельствует история, первую пару ботинок он надел всего лишь девять лет назад.

— Даже если это так, — согласился сеньор Кармайкл, — вдова не имеет никакого отношения к делам Монтеля.

— Она только прикидывается дурочкой, — упорствовал парикмахер.

Сеньор Кармайкл поднял голову и ослабил на шее простыню, чтобы не очень давило.

— Вот почему я предпочитаю, чтобы меня стригла жена, — заявил он. — Это не стоит мне ни сентаво, и, кроме того, она не говорит со мной о политике.

Парикмахер легким толчком наклонил его голову вперед и, умолкнув, продолжал стричь. Порой, от избытка мастерства, он лязгал над головой клиента ножницами. Тут сеньор Кармайкл услышал доносящиеся с улицы крики. Он посмотрел в зеркало, мимо парикмахерской проходили дети и женщины — несли мебель и утварь из перенесенных ранее домов. Он с горечью прокомментировал:

— Мы все никак не можем оправиться от всяческих бед, а вы все погрязли в политической междоусобице. Прошло чуть больше года, как прекратились преследования, а вы опять все о том же толкуете.

— А то, что мы брошены на произвол судьбы, разве это не хуже всяческих бед? — парировал парикмахер.

— Но нас ведь не избивают.

— Ну а то, что мы предоставлены самим себе, это разве не своего рода избиение?

Тут сеньор Кармайкл вышел из себя и брякнул:

— Это все газетные враки.

Парикмахер в ответ ничего не сказал. Он взбил в чашечке мыльную пену и стал наносить ее помазком на подбородок сеньора Кармайкла.

— Иногда так и хочется почесать языком, — сказал он, словно оправдываясь. — Ведь не каждый день выпадает поговорить с беспристрастным человеком.

— Поневоле станешь беспристрастным, когда на шее одиннадцать нахлебников, — буркнул сеньор Кармайкл.

— Тут уж ничего не попишешь, — сказал парикмахер.

Он провел ладонью по бритве, и та запела. В молчании принялся брить

затылок сеньора Кармайкла, снимая мыльную пену пальцами, а затем вытирая их о брюки. После всего он обработал затылок квасцами и, не проронив ни слова, закончил стрижку.

Уже застегивая воротник рубашки, сеньор Кармайкл увидел пришипленное к задней стене объявление: «Вести разговоры о политике воспрещается». Он стряхнул с плеч мелкие, оставшиеся после стрижки волосы, повесил на руку зонтик и, указывая на объявление, спросил:

— Почему вы его не снимете?

— Для вас я сделал исключение, — сказал парикмахер. — Ведь мы сошлись на том, что вы — человек беспристрастный.

В этот раз сеньор Кармайкл прыгнул на тротуар через лужу не раздумывая. Парикмахер проводил его взглядом, пока тот не завернул за угол, а затем бездумно уставился в мутный и грозно клокочущий поток. Дождь лить перестал, но над городком повисла неподвижная, напитанная влагой туча. Около часа в парикмахерскую зашел сириец Моисей и стал жаловаться, что у него выпадают волосы спереди, а на затылке, наоборот, растут буйно.

Сириец приходил стричься по понедельникам. Обычно он с какой-то фатальной обреченностью склонял голову на грудь и раздражался гортанным, с арабским прононсом, храпом, а парикмахер в это время громким голосом разглагольствовал сам с собой. Но в этот понедельник сириец внезапно проснулся от первого же вопроса.

— Вы знаете, кто здесь был?

— Кармайкл, — ответил сириец.

— Кармайкл, этот паршивый негр, — подтвердил парикмахер, медленно, словно по слогам, выговаривая слова. — Такого сорта людей я не переносу.

— Кармайкл, да разве он человек?! — воскликнул сириец Моисей. — Вот уже три года, как он не купил ни одной пары туфель. Однако в политику он не лезет: уткнулся в свою бухгалтерию, а остальное — тринтрава.

И сириец снова опустил бороду себе на грудь и принялся храпеть, но тут парикмахер, скрестив руки на груди, стал перед ним и заявил:

— Будьте так добры, турок говенный, ответьте на один-единственный вопрос: а вы за кого?

И сириец невозмутимо ответил:

— За себя.

— Ну и плохо. Вспомним хотя бы про четыре ребра — про те, что сломали сыну вашего земляка Элиаса, и не без участия Чепе Монтъеля.

— Видимо, у Элиаса не все в порядке с головой, если его сын ударился в политику, — парировал сириец. — Но сейчас парень вовсю наяряивает на танцплощадках в Бразилии, а Чепе Монтъель — в могиле.

* * *

Прежде чем выйти из комнаты, приведенной в полнейший беспорядок за долгие ночи мучительной зубной боли, алькальд побрил правую щеку, а левую оставил совсем нетронутой — с восьмидневной щетиной. Потом он надел чистую форму, обулся в лакированные ботинки и, воспользовавшись тем, что дождь на время прекратился, спустился вниз и направился в гостиницу пообедать.

В гостиничной столовой не было ни души. Алькальд прошел между четырехместными столиками и занял самое укромное место в глубине зала.

— Маскарас, — позвал он.

Появилась совсем молоденькая девушка в коротком, плотно облегающем большие, словно булыжники, груди платье. Стараясь на нее не смотреть, алькальд заказал обед. Идучи на кухню, девушка включила стоящий на полке в конце зала приемник; передавали последние известия с цитатами из речи президента республики, произнесенной накануне вечером, а затем — новый список запрещенных к ввозу товаров. По мере того как голос диктора заполнял пространство, жара становилась все сильнее и сильнее. Когда девушка вернулась с супом, алькальд, пытаясь высушить пот, обмахивался фуражкой, как веером.

— Я тоже потею от радио, — сказала девушка.

Алькальд принялся за суп. Ему всегда казалось, что эта единственная гостиница, существующая за счет случайных приезжих и коммивояжеров, отличается от всех домов городка. И в действительности, она была построена раньше города. На ее полуразвалившемся балконе за игрой в карты торговцы, приезжавшие из центра страны для скупки риса, коротали ночи, ожидая наступления свежего раннего утра, чтобы хоть немного вздремнуть. Еще когда на многие мили вокруг не было ни единого селеньица, сам полковник Аурелиано Буэндия, направлявшийся в Макондо для заключения капитуляции в последней гражданской войне, провел одну ночь на этом самом балконе^[7]. И в те времена это был все тот же самый, с деревянными стенами и оцинкованной крышей, дом, с той же столовой и картонными перегородками между комнатами; не было лишь света и удобств. Один старик коммивояжер рассказывал, что даже в начале века к

услугам клиентов на стене в столовой висела коллекция масок и гость в случае необходимости надевал одну из них, выходил во двор и прямо там, у всех на виду, справлял малую нужду.

Доедая суп, алькальд расстегнул воротник. За последними известиями последовали рекламные объявления в стихах, записанные на пластинку. Затем — сентиментальное болеро умирающий от любви, сладострастный мужской голос сообщал о намерении объехать вокруг света в погоне за женщиной. Ожидая остальные блюда, алькальд стал слушать песню, но тут его внимание привлекли проходившие мимо гостиницы двое детей, тащившие стулья и кресло-качалку. За ними шли две женщины и мужчина — несли жаровни, корыта и прочую домашнюю утварь.

Алькальд подошел к порогу и крикнул:

— Где стибрили барахлишко?

Все остановились, и мужчина объяснил алькальду, что они переносят дом повыше. Алькальд спросил, куда именно перенесли дом, и мужчина показал своим сомбреро на юг:

— Там, наверху, есть участок; дон Сабас за тридцать песо сдал его нам в аренду.

Алькальд скользнул взглядом по их пожиткам: полуразвалившаяся качалка, мятые жаровни — скарб бедняков. На миг задумался, а потом сказал:

— Тащите свое добро к кладбищу: там неподалеку есть свободный участок.

Не до конца поняв, мужчина замялся.

— Те земли принадлежат муниципии и вам не будут стоить ничего, — разъяснил алькальд. — Муниципия вам их дарит. — Затем, обращаясь к женщинам, добавил: — А дону Сабасу передайте: алькальд велел сказать — пусть завязывает со своими бандитскими замашками.

Обед он закончил в задумчивости — не почувствовал даже вкуса пищи. Потом закурил сигарету, затем прикурил от нее другую и, облокотившись на стол, надолго задумался. По радио между тем наярявали душещипательные болеро одно за другим.

— О чем задумались? — спросила девушка, убирая со стола пустые тарелки.

Не моргнув глазом алькальд ответил:

— Об этих бедняках.

Он надел фуражку и через зал направился к выходу. На пороге он обернулся:

— Нужно сделать из городка конфетку!

На углу ему преградил путь кровавый клубок грызущихся собак — водоворот тел: мелькали спины, лапы и оскаленные пасти, летала шерсть, стоял остервенелый лай; затем он увидел, как одна из собак, волоча лапу, потащилась, поджав хвост, прочь. Алькальд обошел свору и зашагал по тротуару к полицейским казармам.

В камере кричала женщина, а дежурный полицейский, лежа ничком на полевой койке — как и положено в сиесту, спал. Алькальд ударил ногой по койке: дежурный проснулся и вскочил.

— Кто это? — спросил алькальд.

Полицейский встал по стойке «смирно»:

— Женщина, что клеила анонимки.

Алькальд покрыл своих подчиненных отборной бранью: он хотел знать, кто доставил сюда женщину и по чьему приказу ее посадили в камеру. Полицейские тут же ударились в многословные объяснения.

— Когда ее посадили?

— В субботу вечером.

— Пусть вместо нее сядет один из вас, — закричал алькальд. — Она провела в камере ночь, а утром весь город был оклеен анонимками.

Как только открылась тяжелая железная дверь, из камеры с криком выскочила пожилая худосочная женщина, волосы ее были собраны в тяжелый узел и заколоты гребнем.

— Катись отсюда, — сказал ей алькальд.

Женщина распустила узел пышных волос, потрянула несколько раз головой и, как из пушки, полетела вниз по лестнице, отчаянно выкрикивая: «Суки, суки!» Алькальд перегнулся через перила и заорал во всю мощь своих легких, словно хотел, чтобы его услышали не только эта женщина и его полицейские, но и жители всего городка:

— Отъебитесь вы от меня со своими анонимками.

* * *

Хотя мелкий дождь еще моросил, падре Анхель вышел на свою обычную вечернюю прогулку. До встречи с алькальдом было еще время, и он отправился в затопленную часть города. Там падре увидел лишь труп кошки, плавающий среди цветов.

Ближе к вечеру, когда падре уже возвращался, стало подсыхать. Вечер зажег свои ослепительно яркие огни. Вниз по густой и неподвижной реке шел баркас, груженный мазутом. Из полуразвалившегося дома выбежал

ребенок и громко оповестил, что в его ракушке — море. Падре Анхель поднес ракушку к уху: действительно, в ракушке рокотало море.

Скрестив на животе руки и бездумно уставившись на баркас, у двери своего дома сидела жена судьи Аркадио. Через три дома начиналась торговая часть города: магазины, образцы товаров и просто безделушки, выставленные на прилавках и в витринах, сидящие у дверей своих лавок невозмутимые сирийцы. Закат умирал в клубах ярко-розовых облаков, в суматошных криках попугаев и обезьян, доносившихся с другого берега.

Открывались двери домов. Под запыленными и грязными миндальными деревьями, вокруг повозок с прохладительными напитками или на изъеденных временем гранитных скамьях у деревянного желоба, где поили скот, собирались поговорить мужчины. Падре Анхель подумал, что каждый вечер в это самое время на городок нисходит необъяснимое чудо преображения.

— Падре, как выглядели узники концлагерей, не помните ли?

Падре доктора Хиральдо не видел, но представил себе его улыбающееся лицо за стеклами освещенного окна. Честно говоря, падре не мог вспомнить, рассматривал ли он когда-либо фотографии с этими узниками, но тем не менее не сомневался — когда-то на глаза они ему все-таки попадались.

— Загляните ко мне, — пригласил врач.

Падре Анхель толкнул забранную металлической сеткой дверь. Взору его предстало лежащее на циновке существо неопределенного пола — прямо-таки скелет, обтянутый желтой кожей. В комнате находились еще двое мужчин и женщина — они сидели у перегородки. Падре не почувствовал никакого запаха, но, подумал он, от этого существа, должно быть, исходит отвратительная вонь.

— Кто это?

— Мой сын, — ответила женщина и, словно извиняясь, добавила: — Уже два года, как у него кровавая срачка.

Не пошевелившись, больной уставился на падре. Того пронзила острая жалость и ужас.

— А что вы ему даете?

— Мы пытаемся кормить его зелеными бананами, ведь это такое хорошее вяжущее средство, но он их не ест.

— Вы должны принести его ко мне на исповедь, — сказал падре.

Но слова его прозвучали неуверенно. Он осторожно закрыл дверь и постучал по сетке на окне ногтями. Падре вплотную придвинулся к окну — разглядеть доктора в кабинете; тот что-то растирал в ступке.

— Что с ним? — спросил падре.

— Я пока не осматривал, — ответил доктор и задумчиво прокомментировал: — Все, что происходит с людьми, творится по воле Божьей, падре.

Падре Анхель этот комментарий пропустил мимо ушей.

— Я на своем веку повидал немало трупов, но этот бедный паренек похож на мертвеца больше самих мертвецов, — заметил он.

Они попрощались. У пристани уже не было ни одного судна. Начинало темнеть. Падре Анхель понял: теперь, после больного, настроение его испорчено. Вдруг он спохватился, что опаздывает на встречу с алькальдом, и быстро пошел к полицейским казармам.

Обхватив голову руками, алькальд полулежал на раскладном стуле.

— Добрый вечер, — медленно сказал падре.

Алькальд поднял голову, и падре ужаснулся, увидев его покрасневшие, полные отчаяния глаза. Одна щека алькальда была гладко выбрита, другая — заросла щетиной и была покрыта пепельно-серой мазью. Алькальд глухо застонал и воскликнул:

— Падре, я застрелюсь!

Падре растерялся.

— Таким количеством анальгетиков вы себя отравляете, — только и смог он сказать.

Алькальд вдруг вскочил и, громко топая, побежал через комнату, — вцепившись руками в волосы, он изо всех сил стал биться головой о стену. Падре еще никогда не приходилось быть свидетелем такого отчаяния.

— Примите еще две таблетки, — сказал он, прекрасно сознавая, что это только еще более одурманит больного. — От двух еще не умрете.

Это, конечно, было истинной правдой, но падре Анхель только лишней раз осознал свою полную беспомощность перед лицом человеческой боли. Обводя взглядом почти пустой кабинет, он стал искать таблетки. У стен стояли полдюжины табуреток с кожаными сиденьями, застекленный шкаф, набитый пыльными бумагами, на гвозде висела литография президента республики. Разбросанные по полу целлофановые обертки — вот все, что осталось от таблеток.

— Где они у вас лежат? — в отчаянии воскликнул падре.

— Они на меня больше не действуют, — отозвался алькальд.

Священник, подойдя к нему, повторил:

— Где они?

Алькальд резко отшатнулся: на падре Анхеля уставилось в упор огромное, чудовищно страшное лицо.

— Проклятие, — завопил алькальд. — Я же уже сказал — отъебитесь вы все от меня!

И, подняв над головой табуретку, в безысходном отчаянии запустил ее в застекленный шкаф. Обрушился стеклянный град, из клубов пыли, как сирена из моря, выплыл алькальд, — и тут падре осознал до конца, что произошло. На миг воцарилась мертвая тишина.

— Лейтенант, — пробормотал падре.

У двери, ведущей в коридор, возникли полицейские с винтовками на изготовку. Тяжело дыша, взъерошенный, как кот, алькальд глядел на них невидящим взглядом, они опустили винтовки, но не разошлись, а остались стоять у двери. Взяв алькальда под руку, падре Анхель повел его к складному стулу.

— Где у вас анальгетики? — снова спросил падре.

Алькальд закрыл глаза и откинул голову назад.

— Эту отраву я принимать больше не буду, — сказал он. — От них у меня гудит в ушах, а голова немеет.

Когда на короткое время боль отступила, алькальд повернул голову к падре и спросил:

— С зубодером говорили?

Падре подтвердил молчаливым кивком. По выражению его лица алькальд понял, каков был результат разговора.

— А почему бы вам не поговорить с доктором Хиральдо? — предложил падре. — Некоторые другие врачи тоже умеют рвать зубы.

Прежде чем ответить, алькальд задумался.

— Скажет, что у него нет щипцов, — сказал он. И добавил: — Это заговор.

Воспользовавшись передышкой от боли, он решил хоть немного вздремнуть. Когда он открыл глаза, комната была погружена в полумрак. Еще не видя, здесь ли падре Анхель, алькальд сказал:

— Но ведь вы пришли по делу Сесара Монтеро.

Ответа не последовало.

— Из-за этой проклятой боли я ничего не смог сделать, — продолжил он. Алькальд встал и включил свет, и первая волна москитов тотчас влетела через балкон в комнату. На падре накатила безотчетная тревога, — в последнее время по вечерам такое стало случаться постоянно.

— Но время не ждет, — сказал он.

— Как бы то ни было, в среду необходимо его отправить, — сказал алькальд. — Завтра мы оформим все, что нужно, а после обеда вы его исповедуете.

— В котором часу?

— В четыре.

— Даже если будет дождь?

Алькальд бросил на падре взгляд, и в нем падре Анхель смог прочесть всю муку и боль, что пережил алькальд за две недели.

— Даже если настанет конец света, падре!

* * *

И в самом деле, анальгетики уже не помогали. Надеюсь, что вечером станет прохладнее и он сможет заснуть, алькальд перевесил свой гамак из комнаты на балкон. Но к восьми часам отчаяние овладело им вновь, он вышел из дому на площадь, утонувшую в вязкой духоте, спавшую летаргическим сном.

Побродив немного по площади, но так и не сумев утихомирить боль, алькальд пошел в кинотеатр. Он поступил опрометчиво: от рева боевых самолетов боль еще более усилилась. Не став дожидаться окончания фильма, вышел из зала и пошел в аптеку, — в этот момент дон Лало Москоте уже собирался ее закрывать.

— Дайте мне самое сильное средство от зубной боли.

Аптекарь посмотрел на его щеку с изумлением. Затем, мимо стеклянных шкафов, до отказа заставленных фаянсовыми пузырьками, на которых были выведены синими буквами названия лекарств, пошел в глубь помещения. Глядя на его удаляющуюся спину, алькальд подумал: быть может, сейчас этот человек с округлым розовым затылком испытывает самый счастливый миг своей жизни. Он знал, что аптекарь занимает две комнаты в задней части этого дома, а его супруга, тучная женщина, была уже много лет парализована.

Дон Лало Москоте вернулся с фаянсовым флаконом без этикетки. Когда открыл его — пахло стойким запахом сладких трав.

— Что это?

Аптекарь погрузил пальцы в серые семена.

— Кресс^[8], — ответил он. — Хорошенько разжуйте семена и глотайте понемногу: при флюсе нет ничего лучше.

Он положил на ладонь несколько семян и, глядя на алькальда поверх очков, сказал:

— Откройте рот.

Алькальд отрицательно помотал головой. Он повертел в руках флакон,

убедился, что надписи никакой нет, и снова остановил на аптекаре свой взгляд.

— Дайте мне что-нибудь заграничное, — попросил он.

— Это лучше любого заграничного средства, — сказал Лало Москоте. — Гарантия — три тысячи лет народной мудрости.

Он стал заворачивать семена в обрывок газеты. Сейчас он походил на дядю родного: столь старательно и любовно заворачивал кресс, словно мастерил для детишек бумажного голубя. Когда он поднял голову, на лице его блуждала улыбка.

— Почему вы его не удалите?

Алькальд ничего не ответил. Он сунул аптекарю деньги и вышел, не дожидаясь сдачи.

Полночи алькальд ворочался в гамаке, так и не решившись разжевать хоть одно семечко. Около одиннадцати, когда духота стала нестерпимой, хлынул ливень; потом ливень стих, перешел в слабую морось. Измученный лихорадкой, обливаясь липким холодным потом, алькальд растянулся в гамаке и, открыв рот, стал про себя молиться Богу. Молился истово, напрягая все свои мускулы тем сильнее, чем ближе к концу подходила молитва, но чем более страстно он молился, тем острее становилась боль. Тогда он надел ботинки и плащ прямо на пижамный костюм и побежал в полицейские казармы.

Он ворвался туда, вопя во все горло. Заблудившиеся, словно в мангровой чаще^[9], между кошмарным сном и действительностью, полицейские в узком коридоре искали винтовки, натыкались в темноте один на другого. Когда включили свет, они, полуодетые, кое-как построились, ожидая приказа.

— Гонсалес, Ровира, Перальта! — выкрикнул алькальд.

Трое полицейских вышли из строя и подошли к лейтенанту. Никакой явной причины для выбора этих троих не было: все трое были ничем не примечательными метисами. Один из них, с детскими чертами лица, стриженный на скорую руку, был во фланелевой рубахе, двое других — тоже в таких же рубашках, только поверх них были надеты расстегнутые гимнастерки.

Точного приказа полицейские так и не получили. Перескакивая через четыре ступеньки, они выбежали вслед за алькальдом из казармы. Не обращая внимания на морозящий дождь, полицейские перебежали через улицу и остановились у дома зубного врача. От двух мощных ударов прикладами дверь разлетелась в щепы. Они уже ворвались в дом, когда в передней зажегся свет. Из двери в глубине дома, совывая руки в рукава

купального халата, появился маленький, лысый, жилистый человек. Сначала он замер, подняв вверх одну руку и испуганно открыв рот, — словно выхваченный фотовспышкой. Потом отпрянул назад и натолкнулся на выходящую из спальни жену в ночной рубашке.

— Спокойствие! — крикнул лейтенант.

Женщина воскликнула «Ой!» и, зажав руками рот, юркнула назад в спальню. Завязывая на халате пояс, зубной врач вошел в переднюю и только теперь узнал трех целившихся в него из винтовок полицейских и алькальда, — тот спокойно стоял, сунув руки в карманы плаща, по которому ручьями стекала вода.

— Если сеньора выйдет из комнаты, прикажу стрелять, — сказал алькальд.

Положив ладонь на дверную ручку, зубной врач крикнул в глубину комнаты: «Ты слышала, душка!» — и аккуратно закрыл дверь спальни. Затем, лавируя между выцветшими от времени плетеными стульями, под дулами винтовок направился в кабинет. В дверях два полицейских его опередили: один зажег свет, другой прямым подошел к рабочему столу и вынул из выдвижного ящика револьвер.

— Должен быть еще один, — сказал алькальд.

Он вошел последним — вслед за зубным врачом. Те двое провели быстрый и добросовестный обыск, третий полицейский остался у двери. На рабочем столе перевернули ящик с инструментами, разбросали по полу гипсовые слепки, недоделанные протезы, зубы и золотые коронки, вытряхнули содержимое фаянсовых флаконов, стоявших в стеклянном шкафу, а затем несколькими короткими и резкими ударами штыка вспороли резиновый подголовник зубоврачебного кресла и сиденье вращающегося рабочего кресла.

— Тридцать восьмого калибра, длинноствольный, — уточнил алькальд.

Он в упор глянул на дантиста.

— Лучше вам сразу сказать, где он, — посоветовал алькальд. — У нас совсем нет желания переворачивать дом вверх дном.

За стеклами очков в золотой оправе ресницы узких равнодушных глаз зубного врача даже не дрогнули.

— Мне не к спеху, — спокойно отозвался он, — если охота, можете переворачивать.

Алькальд задумался. Потом еще раз изучающим взглядом окинул комнатку со стенами из необструганных досок и направился, отдавая короткие распоряжения полицейским, к креслу. Одного полицейского он

поставил у двери, ведущей на улицу, другого — у двери, через которую они вошли в кабинет, а третьего — у окна. Удобно устроившись в кресле и застегнув на все пуговицы плащ, алькальд почувствовал, что его окружает дышащий холодом металл. Он глубоко втянул в себя пахнущий креозотом^[10] воздух и, положив голову на подушечку, попытался унять дрожь. Зубной врач подобрал с полу несколько инструментов и поставил их кипятить.

Стоя к алькальду спиной, он смотрел на голубоватое пламя спиртовки с таким же выражением лица, как будто в кабинете он был в полном одиночестве. Вскипятив воду, обернул бумагой ручку кастрюли и понес ее к креслу. Дорогу ему преградил полицейский. Дантист опустил кастрюльку, чтобы пар не мешал видеть алькальда, и сказал ему:

— Прикажете этому убийце, чтобы не мешал.

По знаку алькальда полицейский отошел, пропуская врача к креслу. Потом придвинул к стене стул и, широко раздвинув ноги, сел, положив винтовку на колени и не сводя настороженного взгляда с дантиста. Врач включил лампу. Ослепленный неожиданным светом, алькальд закрыл глаза и открыл рот. Боль прошла.

Указательным пальцем одной руки надавив на вспухшую щеку, другой — направляя свет лампы, не обращая абсолютно никакого внимания на беспокойство пациента, дантист отыскал больной зуб. Затем закатал по локоть рукава и приготовился вырвать зуб.

Алькальд схватил его за запястье.

— Анестезию! — приказал он.

Глаза алькальда и дантиста впервые встретились.

— Вы убиваете без анестезии, — негромко сказал дантист.

Алькальд чувствовал: врач, сжимая щипцы, даже не пытается высвободиться.

— Принесите ампулы, — приказал он. Стоящий в углу полицейский повел в их сторону стволом винтовки; послышался лязг взводимого затвора.

— Представьте себе, их нет! — сказал зубной врач.

Алькальд выпустил руку дантиста.

— Должны быть! — возразил он, рассматривая с измученным видом разбросанные по полу предметы. Зубной врач сочувственно наблюдал за ним. Потом, прижав голову алькальда к изголовью кресла и впервые выказав признаки раздражения, врач сказал:

— Лейтенант, не будьте трусом: при таком абсцессе никакая анестезия не поможет.

Когда самый ужасный в его жизни миг миновал, алькальд сидел в кресле совсем лишившись сил. Сырость рисовала на гладком картонном потолке кабинета темные знаки, — они западали в память алькальда, чтобы остаться там навсегда. Он услышал, как дантист возится у умывальника, как молча ставит на свое место ящики и подбирает с полу разбросанные предметы.

— Ровира, — позвал алькальд, — скажи Гонсалесу — пусть войдет. Соберите все с полу и разложите по местам, как было раньше.

Полицейские молча подчинились. Макнув клоч ваты, зажатый пинцетом, в мазь серо-стального цвета, зубной врач положил его на разрез. Алькальд почувствовал слабое жжение. И после того, как врач закрыл ему рот, он продолжал сидеть в кресле, уставясь в потолок и краем уха прислушиваясь к возне своих подчиненных, старавшихся восстановить прежний порядок в кабинете. Сквозь шорох морозящего дождя донеслось уханье выпи, указавшей время с минутным опозданием. Некоторое время спустя, поняв, что полицейские завершили работу, алькальд показал им знаками: возвращайтесь в казармы.

Все это время зубной врач не отходил от кресла. Когда полицейские ушли, он снял тампон с десны алькальда. Светя лампой, осмотрел полость рта, затем велел алькальду сомкнуть челюсти и отвел лампу в сторону. Все было кончено. В душном кабинете осталось только горькое ощущение тревожной пустоты, знакомое, пожалуй, лишь уборщикам, когда из театра уходит последний актер.

— Неблагодарный! — бросил алькальд.

Сунув руки в карманы халата, зубной врач отошел в сторону.

— Нам было приказано обыскать дом, — продолжал алькальд, направляя на дантиста свет лампы. — И кроме того, нам были даны четкие указания: обнаружить оружие, боеприпасы и документы, связанные с заговором против режима. — И, уставившись на врача еще слезящимися глазами, добавил: — Я посчитал за благо не подчиниться приказу, но, видимо, я ошибся. Сейчас все в стране изменилось: оппозиции гарантирована безопасность, и все живут в мире и согласии. И только вы продолжаете думать о заговоре.

Дантист вытер рукавом подголовник кресла и перевернул его той стороной, которая не была распорота штыками.

— Ваша позиция наносит ущерб всему городу, — продолжал алькальд, тыча пальцем в сторону подголовника и не обращая никакого внимания на озабоченно смотревшего на его щеку дантиста. — Теперь муниципалитет еще должен будет выложить денежки за все это безобразие и, кроме того, за

входную дверь. А это деньги немалые; и все из-за вашего упрямства.
— Полощите рот шалфеем, — сказал зубной врач.

IV

Судье Аркадио пришлось пойти на почту, чтобы взять там словарь: в собственном, увы, нескольких страниц не хватало. Но ничего полезного он не извлек: Пасквиль — имя сапожника, известного в Риме своими сатирами, ну и так далее. Было бы, наверное, исторически столь же справедливо назвать наклеенную на дверь дома анонимку марфорио^[11]. Однако разочарования не было, наоборот — впервые за много лет, перелистывая словарь, он испытал чувство удовлетворения.

Телеграфист увидел: судья поставил словарь на стеллаж, где пылились тома распоряжений и указаний, — и поспешил закончить передачу телеграммы. Затем, тасуя карты, он подошел к судье — хотел показать ему фокус: угадывание трех карт. Но судья не удостоил его вниманием, а, отделавшись отговоркой: «У меня много дел», вышел на раскаленную улицу. Он подумал: «Сейчас всего лишь одиннадцать, и сегодня, во вторник, как и во многие другие дни, остается еще уйма времени, которое предстоит как-то убить».

В суде его ждал с весьма щекотливым делом алькальд. Во время последних выборов полиция конфисковала избирательные удостоверения у членов оппозиционной партии. И теперь выяснилось: у большинства жителей городка нет никаких документов, удостоверяющих личность.

— Эти люди, которые сейчас перетаскивают дома, не знают даже, как их зовут, — сокрушенно разводя руками, сказал алькальд.

Судья Аркадио почувствовал: эти разведенные руки говорят об искренней озабоченности. Однако выход из этого положения найти было легко: надо ходатайствовать о назначении нового регистратора актов гражданского состояния. Секретарь еще больше облегчил дело алькальду.

— Вам нужно его только вызвать, — сказал он. — Его назначили уже год тому назад.

Алькальд вспомнил: когда несколько месяцев назад назначили регистратора и он запросил по междугородке, как того встретить, ему ответили: «Пулями». Теперь таких распоряжений уже не отдавали. Сунув руки в карманы, он повернулся к секретарю и сказал:

— Напишите письмо.

Пулеметная дробь пишущей машинки создала в конторе атмосферу энергичной деятельности, — судья Аркадио почувствовал угрызения совести. Он оказался как бы не у дел. Вынув из кармана рубашки сигарету,

он, прежде чем закурить, размял ее пальцами. Затем с силой откинулся на спинку кресла, и в этот миг его пронзило щемящее ощущение полноты жизни.

Он сначала выстроил фразу в уме, а потом произнес вслух:

— На вашем месте я бы назначил и представителя прокуратуры.

Против ожидания алькальд отозвался не сразу. Машинально он скользнул взглядом по циферблату часов, не запомнив времени, но догадался, что до обеда еще далеко. Когда заговорил, особого воодушевления в голосе не было: ему была неизвестна процедура назначения представителя прокуратуры.

— Уполномоченный назначается муниципальным советом, — объяснил судья Аркадио. — Поскольку совет сейчас не существует, а чрезвычайное положение сохраняется, вы имеете право назначить его сами.

Алькальд подписал письмо не читая, — он слушал судью, а затем, когда тот закончил, с воодушевлением его поддержал. Однако тут секретарь сделал замечание по поводу этичности процедуры, предлагаемой его непосредственным начальником. Но судья Аркадио продолжал настаивать: это — чрезвычайная процедура при чрезвычайном положении.

— Мне нравится такая формулировка, — сказал алькальд.

Он снял фуражку и стал обмахиваться ею, как веером; судья Аркадио заметил: от головного убора на лбу алькальда остался след. Глядя, как тот обмахивается, судья предположил, что алькальд еще о чем-то думает. Длинным изогнутым ногтем мизинца он стряхнул пепел с сигареты и стал ждать.

— Вам не приходит в голову какой-нибудь кандидат? — спросил алькальд.

Он спросил это, обращаясь к секретарю.

— Какой-нибудь кандидат? — прикрыв глаза, повторил судья.

— На вашем месте я бы назначил честного человека, — сказал секретарь.

Судья поспешил загладить неловкость.

— Это само собой! — сказал он, переводя взгляд с одного собеседника на другого.

— Ну и кого же? — спросил алькальд.

— Сейчас мне никто в голову не приходит, — в задумчивости ответил судья.

Алькальд пошел к выходу.

— Подумайте, — сказал он. — Вот разберемся с наводнением — возьмемся за уполномоченного.

Когда стук каблуков алькальда стих, сидевший у машинки секретарь поднял голову.

— У него крыша поехала, — сказал он. — Всего лишь полтора года тому назад одному уполномоченному прикладами размозжили голову, а он уже ищет нового — хочет обрадовать его этой должностью.

Судья Аркадио вскочил.

— Я ухожу, — сказал он. — Не хочу, чтобы ты мне испортил обед своими ужасными рассказами.

Он вышел из суда. В наступившем полдне было что-то зловещее. И секретарь, склонный к предрассудкам, это тоже ощутил. Когда он закрывал висячий замок на двери суда, ему подумалось: он совершает нечто запретное. Он пустился наутек. У дверей почты он догнал судью Аркадио, — тот решил узнать, можно ли использовать фокус с тремя картами при игре в покер. Но телеграфист отказался раскрыть секрет. Однако он был готов — пока сам судья не догадается — бесконечно повторять этот фокус. За движениями телеграфиста следил и секретарь и в конце концов понял, в чем тут секрет. А судья Аркадио, наоборот, даже не смотрел на карты, — он был уверен, что телеграфист отдает ему те же три карты, какие он выбрал наугад.

— Магия! — заявил телеграфист.

Судья Аркадио подумал: пора, пожалуй, уходить. Но все медлил, а когда решился — схватил под руку секретаря и поволок его за собой; они нырнули в похожий на расплавленное стекло воздух. Выплыли они уже на тротуаре на другой стороне улицы — в тени. Тут секретарь объяснил ему фокус. Он был настолько прост, что судья Аркадио почувствовал себя уязвленным.

Некоторое время они шли молча.

— Вы, конечно, сведения, что я просил, не собрали, — вдруг раздраженно сказал судья.

На мгновение, пытаясь понять смысл сказанного, секретарь замешкался.

— Это очень сложно сделать, — ответил он наконец. — Большую часть анонимок срывают до рассвета.

— А этот фокус мне не понять, — сказал судья Аркадио. — Я бы бессонницей от этих анонимок, если их никто не читает, не страдал.

— Дело в том, — секретарь остановился: они подошли к его дому, — что сна людей лишают не сами анонимки, а страх перед ними.

Несмотря на то что сведения, собранные секретарем, были далеко не полные, судью Аркадио они заинтересовали. Он записал, о чем и о ком

говорились в анонимках, когда они появились, — за семь дней их было расклеено одиннадцать. Все, кто видел анонимки, говорили одно и то же: написаны они были кистью, синими чернилами и печатными буквами; заглавные и строчные буквы чередовались как попало, словно анонимки писал какой-нибудь маленький ребенок. Орфографические ошибки были столь абсурдными, что казались преднамеренными. В этих анонимках не было ничего неизвестного — ничего такого, о чем люди не знали бы уже давным-давно. Он строил в голове мыслимые и немыслимые предположения, когда из своей лавки его окликнул сириец Моисей:

— Нет ли у вас хоть одного песо?

Судья Аркадио не понял зачем, но все же вывернул карманы; там были лишь двадцать пять сентаво и американская монетка — талисман еще с университетских лет. Моисей взял двадцать пять сентаво.

— Берите что хотите и когда хотите заплатите, — сказал он, со звоном запустив монеты в пустой ящик. — Не хочу, чтобы, когда пробьет двенадцать, мне нечем было воздать хвалу Богу.

Вот так и случилось: когда пробило двенадцать, судья Аркадио пришел домой, нагруженный подарками для жены. Он присел на кровать переобуться, а она, замотавшись в обрез набивного шелка, представляла себе, как будет выглядеть в новом платье после родов. Она поцеловала мужа в нос. Он попытался было отстраниться, но она навалилась на него всем телом и крепко прижала поперек кровати. Некоторое время они лежали без движения. Судья Аркадио провел рукой по ее спине, ощутил жар внушительного уже живота, а потом — дрожь ее бедер.

Она подняла голову и, с трудом переводя дыхание, пробормотала:

— Подожди, я только закрою дверь.

* * *

Алькальд ждал, пока не поставят последний дом. За двадцать часов на голом прежде месте была построена новая широкая улица, — упиралась она в стену кладбища. После того как алькальд помог переселенцам расставить мебель, он, тяжело дыша, вошел на кухню в один из домов. На сложенном из камней очаге кипел суп. Алькальд приподнял крышку глиняного горшка, потянул носом. С другой стороны очага на него большими спокойными глазами молча глядела сухощавая женщина.

— Обедаете? — спросил алькальд.

Женщина не ответила. Не дожидаясь приглашения, алькальд налил

себе тарелку супа. Тогда женщина пошла в комнату и вскоре принесла стул и поставила его перед столом, чтобы алькальд мог сесть. Тот ел и с удивлением оглядывал двор. Еще вчера здесь был голый пустырь. А сегодня уже сушилось белье и в грязи возились две свиньи.

— Можете даже что-нибудь посеять, — сказал он.

Не поднимая головы, женщина ответила:

— Свиньи все равно сожрут. — Потом положила в ту же тарелку кусок вареного мяса, две дольки маниоки^[12], половинку зеленого банана и поставила на стол перед алькальдом.

И проделала все это она с подчеркнутым безразличием — на какое только была способна. Улыбаясь, алькальд попытался заглянуть ей в глаза.

— Еды хватит на всех, — утвердительно сказал он.

— Да пусть по воле Божьей еда не пойдет вам впрок, — ответила, не глядя на него, женщина.

Он пропустил мимо ушей недоброе пожелание и снова стал есть, не обращая внимания на стекающие по шее струйки пота. Когда доел, женщина, так и не глянув на него, взяла пустую тарелку.

— И до каких пор вы будете настроены враждебно? — спросил алькальд.

Все с тем же спокойным выражением лица женщина ответила:

— До тех пор, пока вы не воскресите наших близких, убитых вами.

— Сейчас все не так, как раньше, — стал объяснять алькальд. — Новое правительство заботится о благосостоянии граждан, а вот вы...

Женщина перебила его:

— Все осталось по-прежнему.

— Ну а этот квартал? Разве можно было себе вообразить раньше, что такое отгрохают за сутки? — упорствовал алькальд. — Мы стремимся сделать городок прекрасным.

— Наш городок и был прекрасным, пока не появились вы.

Кофе алькальд дожидаться не захотел.

— Вы неблагодарны, — сказал он. — Мы дарим вам землю, а вы все жалуетесь.

Женщина на это ничего не ответила. Но когда алькальд проходил через кухню к выходу, она, наклонившись над очагом, пробормотала:

— Здесь нам будет еще хуже. Еще чаще будем вас поминать: ведь мертвые — прямо за изгородью двора.

Во время сиесты, пока не прибыли баркасы, алькальд попытался вздремнуть. Но зной не давал заснуть. Воспаленная щека стала спадать. Однако чувствовал он себя все еще неважно. Битых два часа он глядел на реку и слушал стрекот цикады, спрятавшейся где-то в комнате. Он ни о чем не думал.

Когда послышался шум лодочных движков, разделся донага, обтер полотенцем потное тело и надел форму. Потом отыскал цикаду, зажал ее большим и указательным пальцами и вышел на улицу. Из толпы, дожидавшейся баркасов, выбежал чистенький, хорошо одетый мальчик и преградил путь алькальду пластмассовым автоматом. Алькальд отдал ему цикаду.

Некоторое время спустя он уже сидел в лавке сирийца Моисея и смотрел, как причаливают суда. Минут десять причал бурлил и кипел. Алькальд почувствовал тяжесть в желудке и острую головную боль, и ему вспомнилось недоброе пожелание женщины. Затем, рассматривая пассажиров, что спускались по деревянным сходням на затекших от восьми часов неподвижного сидения ногах, немного успокоился.

— Ничего нового, все одно и то же, — заметил он.

Однако сириец Моисей заметил ему: появилось и кое-что новенькое — приехал цирк. Алькальд с ним согласился, хотя и не смог бы объяснить, по каким признакам можно было догадаться о приезде цирка; быть может, по груде шестов и цветных полотнищ, лежащих в беспорядке на крыше баркаса, или же по абсолютно похожим друг на дружку женщинам, одетым в одинаковые цветастые платья, — словно один и тот же человек был воспроизведен многократно.

— Хорошо, что хоть цирк приехал, — пробормотал он.

Моисей стал что-то говорить о зверях и фокусниках, однако у алькальда была своеобразная точка зрения на приезд цирка. Вытянув ноги, алькальд взглянул на носки ботинок.

— Городок наш идет по пути прогресса, — сказал он.

Сириец перестал обмахиваться.

— Знаешь, на сколько я сегодня наторговал? — спросил он алькальда.

Тот не рискнул угадать, подождал, что скажет сириец.

— На двадцать пять сентаво! — воскликнул торговец.

В этот миг алькальд увидел: телеграфист развязывает мешок с почтой и отдает корреспонденцию доктору Хиральдо. Алькальд подозвал к себе телеграфиста, взял свою корреспонденцию, — официальная почта приходила в особых конвертах. Он сломал сургучную печать: обычные правительственные материалы. Когда закончил читать полученную почту,

набережная преобразилась: на ней уже громоздились тюки с товарами, корзины с курами и загадочный цирковой реквизит. Время близилось к вечеру; алькальд, вздохнув, встал:

— На двадцать пять сентаво.

— На двадцать пять сентаво! — тотчас отозвался сириец звонким голосом.

Доктор Хиральдо наблюдал за разгрузкой судов до самого конца. Он указал алькальду на мощную, похожую на жрицу неизвестного культа женщину с несколькими браслетами на руках. Тот не был склонен обращать на нее особого внимания.

— Наверно, дрессировщица, — бросил он.

— В определенном смысле вы правы, — сказал доктор, обнажив два ряда острых зубов, которыми, казалось, он аккуратно откусывает каждое слово. — Это теща Сесара Монтеро.

Алькальд отправился дальше. Он посмотрел на часы: без двадцати пяти четыре. У ворот казармы ему доложили, что приходил падре Анхель, ждал его полчаса и обещал вновь прийти в четыре.

Оказавшись снова на улице и не зная, чем заняться, алькальд увидел в окне кабинета зубного врача, подошел к нему и попросил огонька. Тот дал прикурить и посмотрел на еще опухшую щеку алькальда.

— Я чувствую себя уже хорошо, — сказал алькальд и открыл рот.

Дантист посмотрел в рот и заметил:

— Нужно поставить несколько коронок.

Алькальд поправил револьвер на поясе и решительно заявил:

— Я еще к вам как-нибудь зайду.

Лицо зубного врача не дрогнуло.

— Заходите когда хотите, может быть, и мое желание исполнится: дадите дуба в моем доме.

Алькальд похлопал его по плечу.

— Не дождетесь, — весело сказал он. И, высоко подняв руку, добавил: — Мои зубы — превыше всех партий.

* * *

— Значит, под венец ты не идешь?

Жене судьи Аркадио сидеть было неудобно, — раздвинув ноги, она ответила:

— Нет, падре, на это нет никакой надежды. Даже сейчас, когда я вот-

вот должна родить.

Падре Анхель отвел взгляд и посмотрел на реку. По реке плыла вспученная коровья туша, на ней сидело несколько стервятников.

— Тогда ведь ребенок будет считаться незаконнорожденным.

— Его это не волнует, — сказала она. — Сейчас Аркадио обращается со мной хорошо. А если я заставлю его обвенчаться, он почувствует себя связанным и мне же самой потом придется за все расплачиваться.

Она сбросила башмаки и теперь, разговаривая, широко развела ноги и поставила их на перекладину табуретки. Положив веер на колени и скрестив руки на внушительном животе, она, видя, что падре Анхель по-прежнему молчит, повторила:

— Нет, падре, нет никакой надежды. Дон Сабас купил меня за двести песо, три месяца выжимал из меня все соки, а потом в чем мать родила вышвырнул на улицу. Если бы Аркадио меня не подобрал, я бы с голоду подохла. — И, впервые посмотрев падре в глаза, сказала: — Или бы пошла на панель.

Падре Анхель уговаривал ее уже шесть месяцев.

— Ты должна женить его на себе и создать семью. Так, как вы живете сейчас, не только вам не дает уверенности на будущее, но и подает дурной пример остальным жителям города.

— Лучше все делать в открытую, — сказала она. — Другие занимаются тем же, но только тайком. Разве вы не читали анонимки?

— В них одна клевета, — сказал падре. — Ты должна создать семью и тем самым оградить себя от сплетен.

— Оградить? — сказала она. — Меня не нужно ни от чего ограждать, потому что все я делаю открыто. И сплетен обо мне не распускают, разве не так? А вот у семейных людей все стены в анонимках.

— Ты упряма, — сказал падре, — но Бог проявил милость к тебе: послал уважающего тебя мужчину. Потому ты должна обвенчаться и создать семью.

— Я этого не уразумею, — сказала она, — но, как бы то ни было, сейчас мне, беременной, есть где спать и есть что есть.

— Ну а если он тебя бросит?

Она закусила губу, затем, загадочно улыбнувшись, ответила:

— Он меня не бросит, падре. Уж в этом-то я уверена.

Но и на этот раз падре Анхель не захотел признать своего поражения. Он посоветовал ей хотя бы ходить к мессе. Женщина ответила, что придет «на днях»; и вскоре падре в ожидании встречи с алькальдом вышел прогуляться. Один из сирийцев, желая поговорить с падре, сказал ему про

хорошую погоду, но падре пропустил эти слова мимо ушей, — его вниманием завладел цирк: сейчас труппа выгружала зверей казавшихся в ослепительных лучах послеполуденного солнца грустными и испуганными. У пристани он пробыл до четырех.

Прощаясь с дантистом, алькальд увидел падре.

— Мы точны! — сказал он ему и пожал руку. — Точны, даже если нет дождя.

Подойдя к крутой казарменной лестнице, падре Анхель отозвался:

— И не наступил конец света.

Через две минуты он уже вошел в комнату, где содержался Сесар Монтеро.

Пока шла исповедь, алькальд сидел в коридоре. Он вспоминал о цирке: о женщине, вцепившейся зубами в трапецию на высоте метров пяти, и о мужчине в голубой, шитой золотом униформе, выбивающем дробь на барабане. Полчаса спустя падре Анхель вышел из комнаты Сесара Монтеро.

— Все? — спросил алькальд.

Падре Анхель посмотрел на него с укоризной.

— Вы совершаете преступление, — сказал он. — Человек не ест уже более пяти дней. И если он еще жив, то только благодаря своему крепкому здоровью.

— Он сам не захотел есть, — спокойно отпарировал алькальд.

— Неправда, — сказал падре, стараясь говорить спокойно и решительно. — Это вы приказали не давать ему пищи.

Алькальд ткнул в падре указательным пальцем:

— Остерегайтесь, падре. Вы нарушаете тайну исповеди.

— К исповеди это не имеет никакого отношения, — возразил падре.

Алькальд встал.

— Не принимайте все это так близко к сердцу, — неожиданно рассмеявшись, сказал он. — Но если это вызывает у вас такую озабоченность, мы мигом решим проблему.

Он подозвал полицейского и приказал принести еду из гостиницы для Сесара Монтеро.

— Пусть пришлют цыпленка, и поупитаннее, тарелку картошки и побольше салата, — сказал он, а обращаясь к падре, добавил: — Обед — за счет муниципалитета, падре. Пусть все видят, что в городе все стало по-новому.

Падре Анхель опустил голову:

— Когда вы его отправляете?

— Баркасы отчаливают завтра, — сказал алькальд. — Если к вечеру придет в себя, завтра же будет отправлен. Но пусть он поймет — я делаю ему одолжение.

— Несколько дороговатое одолжение.

— Любое одолжение стоит денег — конечно, тому, у кого они есть, — сказал алькальд. Он пристально глянул в прозрачно-голубые глаза падре Анхеля и добавил: — Надеюсь, вы втолковали ему эту истину.

Падре Анхель не ответил. Он стал спускаться по лестнице и уже с лестничной площадки попрощался, буркнув что-то нечленораздельное. Алькальд, не стучась, вошел в комнату Сесара Монтеро.

В комнате были только умывальник и железная кровать. Сесар Монтеро, небритый, в той же одежде, в какой вышел из дому в прошлый вторник, лежал на кровати. Он даже не моргнул глазом, когда услышал голос алькальда.

— Поскольку с Богом ты все дела уладил, — сказал тот, — в самый раз уладить их со мной.

Подтащив стул к кровати, алькальд сел на него верхом, навалившись грудью на плетеную спинку. Сесар Монтеро, не поворачивая головы, смотрел в потолок. Вид у него был довольно спокойный, однако глубокие складки у губ свидетельствовали о долгих и мучительных раздумьях.

— Нам с тобой ни к чему говорить намеками, — продолжал алькальд. — Завтра тебя увезут. Если тебе повезет, через два или три месяца пришлют следователя по особым поручениям. И нам останется только все ему рассказать. Через неделю он уплывет назад, будучи уверен, что ты — глупец.

Последовала пауза; Сесар Монтеро продолжал спокойно лежать.

— Потом члены судов и адвокаты скачают с тебя по крайней мере тысяч двадцать песо, а то и больше. Если следователю вдруг не стукнет в голову и он не заявит, что ты — миллионер.

Сесар Монтеро лишь повернул голову в сторону алькальда. Только слегка повернул, но пружины кровати отчаянно заскрипели.

— Примем во внимание всю нашу неразбериху и волокиту, — продолжал алькальд голосом, в котором зазвучали нотки душевного участия. — В общем, тебе, если повезет, припаяют два года.

Он почувствовал на себе внимательный взгляд Сесара Монтеро. Когда их глаза встретились, алькальд еще говорил, но уже другим тоном.

— Всем, что у тебя есть, ты обязан мне, — сказал алькальд. — Был приказ тебя убрать. Устроить засаду и угробить тебя, а потом конфисковать твой скот, чтобы правительство могло покрыть огромные расходы,

затраченные на предвыборную кампанию во всем департаменте. В других муниципалитетах алькальды подчинились, но мы, в отличие от остальных, приказа не выполнили.

И тут алькальд понял: Сесар Монтеро задумался. Алькальд вытянул ноги и, опираясь локтями на спинку стула, ответил на не высказанное ему обвинение.

— Ни одного сентаво из того, что давал ты, — сказал он, — я себе не взял, все потратил на организацию выборов. Теперь новое правительство гарантирует всем мир, права и благополучие. Я со своим жалованьем должен из кожи вон лезть, а ты от денег бесишься. Хорошо устроился!

Сесар Монтеро стал медленно, с трудом подниматься. Когда он встал, алькальд как бы увидел себя со стороны: он рядом с этим зверем-исполином такой тщедушный и жалкий. В глазах алькальда, когда он посмотрел на застывшего у окна Сесара Монтеро, вспыхнул какой-то странный огонек.

— Соглашайся, это лучшая в твоей жизни сделка.

Окно выходило на реку. Но Сесар Монтеро ее не узнал. Он, казалось, попал совсем в другой город, стоящий на незнакомой, быстро текущей реке.

— Я стараюсь тебе помочь, — услышал он за спиной. — Мы знаем, что это вопрос чести, но тебе обойдется очень дорого доказать это. Разорвав анонимку, ты сглупил.

В этот момент пахнуло удушающим зловонием.

— Корова, — догадался алькальд, — видимо, за что-то зацепилась.

Не обращая ни малейшего внимания на гнилостный запах, Сесар Монтеро застыл у окна. Улицы были безлюдны. У причала болтались три баркаса, матросы, готовясь ко сну, развешивали гамаки. Завтра в семь утра все будет выглядеть по-иному: добрых полчаса на набережной будет давка, — весь городок соберется поглазеть, как арестованного поведут на баркас. Сесар Монтеро вздохнул, сунул руки в карманы и отчетливо, неторопливо произнес одно-единственное слово:

— Сколько?

Ответ последовал незамедлительно:

— На пять тысяч песо годовалых телят.

— И плюс еще пять телят, — сказал Сесар Монтеро, — чтобы ты отправил меня сегодня ночью специальным баркасом сразу же после киносеанса.

Баркас коротко свистнул, развернулся на середине реки, и собравшаяся на причале толпа и женщины, выглядывавшие из окон, в последний раз увидели Росарио Монтеро: вместе с матерью она сидела на том же самом жестяном сундучке, с которым семь лет назад ступила на этот берег. Бреясь у окна своего кабинета, доктор Октавио Хиральдо подумал: этот отъезд в некотором роде завершает круг жизни.

Доктор Хиральдо увидел Росарио в первый же день ее приезда: в потрепанной форме студентки педвуза, в мужских туфлях, она ходила по набережной — искала, кто согласится задешево отнести ее сундучок в школу. Похоже, она уже в тот день была готова похоронить все свои честолюбивые планы в этом городишке, название которого, как она призналась, впервые увидела на бумажке жребия, вытащенной из шляпы, когда шесть имевшихся тогда свободных мест разыгрывались между одиннадцатью кандидатами. Она поселилась при школе в комнатухе, где имелись только железная кровать и умывальник, варила на керосинке кукурузную похлебку, а в свободное время вышивала скатерти. В том же году, под Рождество, на школьной вечеринке она познакомилась с Сесаром Монтеро, неотесанным холостяком, разбогатевшим на лесоповале, жившим в девственной сельве вместе со своими полудикими собаками и появившимся в этих краях неизвестно откуда. В городке он появлялся нечасто, всегда небритый, в сапогах с набойками и с двустволкой. «Та встреча тоже была чем-то похожа на жребий, вытащенный из шляпы», — поглядывая на покрытую густой мыльной пеной бороду, подумал доктор Хиральдо, но тут тошнотворное зловоние отвлекло его от воспоминаний.

На другом берегу, вспугнутая поднятой баркасом волной, взмыла в воздух стая грифов. Удушливый запах на какое-то мгновение повис над причалом, затем, гонимый прохладным утренним бризом, поплыл внутрь домов.

— Черт возьми, она все еще здесь! — в сердцах воскликнул алькальд, — он наблюдал за полетом грифов с балкона своей спальни. — Проклятая корова!

Закрыв нос платком, он вошел в спальню и закрыл балконную дверь. Спальню уже насквозь пропитал трупный запах. Не снимая фуражки, алькальд повесил зеркало на гвоздь и стал осторожно брить еще немного опухшую щеку. Вскоре в дверь постучал хозяин цирка.

Продолжая бриться и глядя на него в зеркало, алькальд предложил ему сесть; на нем была в черную клетку рубашка, бриджи и краги; в руке он держал хлыст и равномерно постукивал им себя по колену.

— На вас уже поступила первая жалоба, — сказал алькальд, уничтожая бритвой последние следы двухнедельного отчаяния. — Прямо вчера вечером.

— А в чем дело?

— Вы посылаете ребят красть кошек.

— Это неправда, — сказал хозяин цирка, — мы покупаем на вес любых кошек, что нам приносят, конечно не спрашивая, откуда они этих кошек взяли. Нам кошки нужны для зверей.

— Вы их бросаете зверям живьем?

— О нет! — возразил хозяин цирка. — Это разбудило бы в зверях инстинкт жестокости.

Умывшись, вытирая лицо полотенцем, алькальд повернулся к нему. Только сейчас он заметил: у того почти на всех пальцах — кольца с разноцветными камнями.

— Вам следует придумать что-либо другое, — сказал он. — Ловите кайманов, если хотите, или кормите рыбой, ее у нас тут полно. Но живых кошек — ни в коем разе.

Пожав плечами, хозяин цирка вместе с алькальдом вышел на улицу. Несмотря на зловоние, исходившее от коровы, застрявшей в зарослях на другом берегу, у причала толпились мужчины и о чем-то говорили.

— Эй вы, сороки, — выкрикнул алькальд, — вместо того чтобы судачить, как бабы, могли бы еще вчера убрать эту корову.

Несколько мужчин подошли к нему.

— Пятьдесят песо тому, — предложил алькальд, — кто через час принесет в мою контору ее рога.

Набережная зашумела. Несколько мужчин, услышав слова алькальда, прыгнули в лодки и, подзадоривая друг друга, торопливо отвязывали причальные веревки.

— Сто песо, — удвоил сумму алькальд, воодушевившись. — Пятьдесят песо за каждый рог.

Он подвел хозяина цирка к самому краю причала. Они увидели: первые лодки уже достигли песчаной отмели на противоположном берегу. Алькальд, улыбаясь, повернулся к хозяину цирка.

— Счастливы! — сказал он.

Хозяин цирка кивнул.

— Единственное, чего нам не хватает, таких вот порывов, —

продолжал алькальд. — А когда нечем заняться, людям приходит в голову всякая ерунда.

Вокруг них стали собираться дети.

— Цирк вон там, — показал им хозяин цирка.

Алькальд схватил его под руку и потащил к площади.

— А какая у вас программа?

— Всякая, — сказал хозяин цирка, — мы подготовили большое представление, рассчитанное как на взрослых, так и на детей.

— Этого мало, — возразил алькальд. — Нужно еще, чтобы оно было понятно каждому.

— Мы учитываем и это, — сказал хозяин цирка.

Они пошли на заброшенный пустырь, лежащий за кинотеатром, — там уже начали ставить цирковой шатер. Из огромных, обитых фигурной латуной сундуков молчаливые мужчины и женщины извлекали декорации, разный домашний скраб и яркое цветное тряпье. Вслед за хозяином цирка алькальд протискивался сквозь плотную толпу, пожимая каждому из встреченных руку, лавировал между грудями какого-то хлама, и вдруг ему подумалось: он оказался среди терпящих кораблекрушение. Плотная, решительного вида женщина с почти полностью съеденными зубами, прежде чем пожать его руку, внимательно на нее посмотрела.

— Что-то странное ждет тебя в будущем, — сказала она.

Не в силах сдержать внезапную дрожь, алькальд выдернул руку. Хозяин цирка легонько стеганул женщину хлыстом по руке.

— Оставь лейтенанта в покое, — сказал он, не останавливаясь и уводя алькальда в глубину пустыря: там были звери. — Вы верите в гадания? — спросил он.

— Когда как, — ответил алькальд.

— А я так и не смог поверить, — сказал хозяин цирка. — Когда часто сталкиваешься со всей этой фигней, то веришь в конце концов только в человеческую волю.

Алькальд посмотрел на сонных от жары зверей. От клеток тянуло едким и горячим духом; в жарком дыхании зверей было что-то безнадежно тоскливое. Хозяин цирка пощекотал хлыстом нос леопарда, и тот жалобно сморщился.

— Как зовут? — спросил алькальд.

— Аристотель.

— Я о женщине, — пояснил алькальд.

— А! — протяжно воскликнул хозяин цирка. — Мы зовем ее Кассандра — зеркало будущего.

В глазах алькальда читалось отчаяние.

— Мне хотелось бы с ней переспать, — сказал он.

— Это возможно, — ответил хозяин цирка.

* * *

Вдова Монтель раздвинула шторы в своей спальне и прошептала: «Бедняги!» Наведя порядок на ночном столике, она положила в ящик четки и молитвенник и вытерла подошвы розовых домашних туфель о тигровую кожу, расстеленную на кровати. Затем обошла всю комнату, закрывая на ключ туалетный столик, три двери застекленного шкафа и квадратный шкаф с гипсовой фигуркой святого Рафаила^[13] наверху, и наконец, заперев спальню, вышла.

Спускаясь по широкой лестнице, облицованной плитами с запутанным, похожим на лабиринт рисунком, она думала о странной судьбе Росарио де Монтеро. Когда сквозь балконную решетку вдова увидела, как та, похожая на прилежную ученицу, знающую, что нехорошо глазеть по сторонам, завернула за угол и направилась к причалу, в душе вдовы Монтель родилось чувство: наконец-то закончилось нечто, что стремилось к своему завершению уже многие годы.

На нижней лестничной площадке ей навстречу летел шум ее бурлящего, как сельская ярмарка, двора. Прямо у лестничных перил стоял стеллаж, где лежали завернутые в свежие, еще зеленые листья сыры; чуть дальше, в открытой галерее, громоздились мешки с солью и бурдюки с медом, а в глубине двора — стойло с мулами и лошадьми, где на поперечных балках висели седла. Дом был пропитан стойким запахом вьючных животных, а во время дубления кож и обработки сахарного тростника появлялись и другие запахи.

Войдя в контору, вдова приветствовала сеньора Кармайкла, раскладывавшего пачки банкнот на письменном столе; время от времени он сверял количество денег с записями в бухгалтерской книге. Когда вдова распахнула окно, выходящее на реку, яркий свет утра — было уже девять — ворвался в комнату, заставленную огромными в серых чехлах креслами и украшенную дешевыми безделушками. На стене висело большое фото Хосе Монтеля в рамке, окаймленной траурной лентой. Вдова почувствовала зловоние и только тогда заметила лодки на песчаных отмелях противоположного берега.

— Что это они делают, на том берегу? — спросила она.

— Пытаются убрать дохлую корову! — ответил сеньор Кармайкл.

— Теперь мне все понятно! — воскликнула вдова. — Вот почему мне всю ночь снился этот запах. — Она посмотрела на погруженного в работу сеньора Кармайкла и добавила: — Теперь нам только потопа не хватает.

Не поднимая головы, сеньор Кармайкл заметил:

— Он начался пятнадцать дней тому назад.

— Вот-вот, — согласилась вдова, — конец близится. Нам осталось только лечь в могилу и ждать смерти — ни больше ни меньше.

Сеньор Кармайкл слушал, не прекращая своих подсчетов.

— Многие годы мы жаловались, что в этом городке ничего не происходит, — продолжала вдова. — И вскоре разразилась настоящая трагедия, словно Господь Бог решил, чтобы в одночасье произошло все то, что в течение долгих лет не случалось.

Сидя у сейфа, сеньор Кармайкл повернулся и посмотрел на вдову: в черном костюме с длинными рукавами она стояла, облокотившись, у окна, не мигая смотрела на противоположный берег и грызла ногти.

— Пойдут дожди, и дела пойдут на лад, — сказал сеньор Кармайкл.

— Нет, дела не пойдут на лад, — сказала вдова. — А беда не приходит одна. Вы видели Росарио Монтеро?

Сеньор Кармайкл подтвердил, что видел.

— Вся эта мура выеденного яйца не стоит, — сказал он. — Если обращать внимание на все, что написано в анонимках, то просто крыша поедет.

— Анонимки, — вздохнула вдова.

— И мне недавно одну наклеили, — сообщил сеньор Кармайкл.

Она подошла к письменному столу и с изумлением спросила:

— Вам?

— Да, мне, — подтвердил сеньор Кармайкл. — В субботу на прошлой неделе; очень содержательную налепили, и такую большую, как афиша.

Вдова придвинула к столу стул и села.

— Какая подлость, — воскликнула она. — Что можно сказать о такой образцовой семье, как ваша?

Сеньор Кармайкл обеспокоенным не выглядел.

— Поскольку жена у меня белая, дети у нас вышли разных оттенков, — стал он объяснять. — Представьте себе, их у меня одиннадцать.

— Я это знаю, — сказала вдова.

— Ну так вот, в анонимке говорилось, что я — отец только чернокожих детей. И потом шел список отцов других детей. Среди них — и дон Чепе

Монтель, пусть земля будет ему пухом.

— Мой муж?!

— Ваш муж и еще четыре других сеньора, — сказал сеньор Кармайкл. Вдова зарыдала.

— К счастью, дочери мои сейчас далеко отсюда, — сказала она. — Пишут: не хотим возвращаться в эту дикую страну, где убивают студентов прямо на улицах. И я им отвечаю: вы абсолютно правы, живите себе спокойно в Париже.

Сеньор Кармайкл развернул стул вполоборота, чтобы лучше видеть вдову, и понял: каждодневный, бередящий душу разговор начался снова.

— Вам не следует ни о чем беспокоиться, — сказал он.

— О нет! — отвечала вдова сквозь слезы. — Мне бы первой следовало собрать пожитки и бежать из этого городка куда глаза глядят. Бог с ними, с этими землями и трудами. От них одно только горе. Нет, сеньор Кармайкл: не до жиру — быть бы живу.

Сеньор Кармайкл попытался ее успокоить.

— Вам все-таки не следует забывать о своих обязанностях, — сказал он. — Взять и выбросить такое состояние чертям собачьим!

— Деньги — дьявольское дерьмо! — сказала вдова.

— Но они также результат тяжелого труда дона Чепе Монтеля.

Вдова снова принялась грызть ногти.

— Вы знаете, что это неправда, — возразила она. — Деньги нажиты нечестным путем, и первым поплатился за это он сам, Хосе Монтель: умер без покаяния.

Она говорила это уже не в первый раз.

— Вся вина, конечно, лежит на этом преступнике, — воскликнула она, указывая на проходившего по другой стороне улицы алькальда, — он шел под руку с хозяином цирка. — Ну а на мою долю выпало искупление.

Не дослушав ее, предварительно сложив в картонную коробку стянутые резинками пачки банкнот, сеньор Кармайкл вышел из конторы и прямо с порога двери, выходящей во двор, стал в алфавитном порядке вызывать работников.

Зарплату получали по средам. Проходя мимо окна, они здоровались, но вдова, хотя и слышала их приветствия, на них не отвечала. Она жила одна в этом мрачном, девятикомнатном доме, где когда-то скончалась Великая Мама. В свое время его купил сам Хосе Монтель, — он и предположить не мог, что его вдове придется нести здесь тяжелое бремя одиночества до конца своих дней. По ночам, обходя пустые комнаты с распылителем инсектицида, она встречала Великую Маму, давившую в

коридоре вшей, и спрашивала ее: «Когда я умру?» Но это счастливое для вдовы общение с потусторонним миром только усугубляло ее неуверенность: ведь ответы Великой Мамы были столь же невразумительны и противоречивы, что и ответы всех остальных мертвецов.

Около одиннадцати еще плачущая вдова увидела: через площадь идет падре Анхель. «Падре, падре!» — окликнула она, понимая, что ее зов вряд ли будет услышан. И падре Анхель ее не услышал. Он подошел к стоящему на другой стороне улицы дому Асисов и постучал; дверь бесшумно приоткрылась и впустила его.

В крытом переходе все звенело от птичьего пения. Покрыв лицо платком, смоченным целебной водой Флориды, вдова Асис лежала в шезлонге. Услышав шаги, она догадалась: это падре Анхель, но решила еще немного продлить свой короткий отдых, пока не услышит слов приветствия. Только тогда она сняла платок, — падре увидел ее измятое бессонницей лицо.

— Извините, падре, — сказала она, — я вас не ждала так рано.

Падре Анхель был приглашен на обед. Немного смутившись, он извинился и объяснил, что утром у него тоже разболелась голова и поэтому он решил прийти до наступления зноя.

— Вам не за что извиняться, — успокоила вдова. — Это я должна извиниться за свой вид.

Падре вытащил из кармана истрепанный, без переплета требник.

— Если вам угодно, можете еще немного отдохнуть, а я пока помолюсь, — предложил он.

Вдова возразила:

— Нет, я чувствую себя уже лучше.

Не открывая глаз, она прошла в конец коридора и, вернувшись, с величайшей аккуратностью повесила платок на подлокотник складного стула. Когда она села напротив падре Анхеля, тому показалось: вдова помолодела на несколько лет.

— Падре, — произнесла она ровным, без надрыва голосом, — мне нужна ваша помощь.

Падре Анхель сунул требник в карман:

— Я к вашим услугам.

— Речь пойдет снова о Роберто Асисе.

Роберто Асис не сдержал данное жене обещание забыть об анонимке. Сказав, что уезжает до субботы, он внезапно вернулся домой в тот же день, поздно вечером, и до самого утра, пока его не свалила усталость, просидел

в темной комнате в ожидании предполагаемого любовника жены.

Падре Анхель выслушал ее в растерянности.

— Но ведь это же все выдумки, — сказал он.

— Вы не знаете Асисов, падре, — ответила вдова. — У них адское воображение.

— Ребеке известно мое мнение по поводу анонимок, — сказал он. — Но если вы хотите, я могу поговорить и с Робертом Асисом.

— Ни в коем случае, — возразила вдова. — Это еще больше распалит его ревность. Вот если бы вы коснулись анонимок во время воскресной проповеди, это, я уверена, заставило бы Роберта Асиса задуматься.

Падре Анхель развел руками.

— Но это нелепо! — воскликнул он. — Это означало бы придать анонимкам важность, какой они не обладают.

— Нет ничего важнее, чем предупредить преступление.

— Вы считаете, что может дойти до этого?

— Я не только так считаю, но точно знаю, что мне не хватит сил не допустить преступления.

Вскоре они сели за стол. Босоногая служанка подала рис с фасолью, тушеные овощи и большое блюдо с фрикадельками в густом коричневом соусе. Падре молча принялся есть. Жгучий перец, тяжелая тишина дома, сердечная смута, беспокойство, овладевшее священником, словно перенесли его в душную комнатенку в Макондо. Когда-то в такой же пыльный и знойный день он, молодой священник, отказал в христианских похоронах одному висельнику-самоубийце, тело которого злопамятные жители Макондо предавать земле не хотели.

Вспотев, падре расстегнул воротник сутаны.

— Хорошо, — сказал он вдове. — Тогда постарайтесь сделать так, чтобы Роберто Асис на воскресной мессе был.

Вдова Асис это ему пообещала.

* * *

Доктор Хиральдо и его жена, никогда не отдыхавшие во время сиесты, в этот день провели послеобеденное время за чтением рассказа Диккенса. Они расположились на внутренней террасе: он — слушал, лежа в гамаке, закинув руки за голову и сплетя пальцы на затылке, а она, с книгой на коленях, сидя спиной к пламенеющей на солнце герани, читала. Читала она спокойно, артистично, не меняя позы. До самого конца чтения не

поднимала головы, но и закончив, она так и осталась сидеть с раскрытой на коленях книгой; муж умывался под краном. Неуемное пекло предвещало бурю.

— А рассказ не показался длинным? — после продолжительного раздумья спросила она.

Точно рассчитанным — профессиональным — движением врач убрал голову из-под крана.

— Считается, что это короткий роман, — став перед зеркалом и намазывая бриллиантином волосы, сказал он. — Но я бы скорее сказал, что это длинный рассказ. — Втирая вазелин в кожу, он закончил: — А критики, вероятно, заявили бы, что это — короткий рассказ, только слишком уж растянут.

Жена помогла ему одеться в белый льняной костюм. Ее можно было принять за старшую сестру — и не только из-за спокойствия, с каким она ему прислуживала, но и из-за холодности во взгляде, делавшей ее много старше своих лет. Прежде чем уйти, доктор Хиральдо отдал ей список предстоящих визитов — на случай если он срочно кому-нибудь понадобится — и поставил стрелки картонных часов висевших в приемной, на пять, это означало: доктор вернется в пять.

Улица гудела от зноя. Доктор Хиральдо шел по теневой стороне. Он чувствовал: несмотря на вязкую духоту, дождя сегодня не будет. Стрекот цикад лишь подчеркивал безлюдность набережной. Корова была уже сдвинута с мелководья; течение реки унесло ее — запах падали исчез, но в воздухе словно образовалась зияющая пустота.

Из гостиницы его окликнул телеграфист:

— Телеграмму вы уже получили?

Доктор Хиральдо впервые слышал о телеграмме.

— Сообщите условия отсылки, подписана Аркофаном, — сказал по памяти телеграфист.

Вместе они направились на почту. Пока врач писал ответ, телеграфист, сморенный сном, стал клевать носом.

— Речь идет о соляной кислоте, — без особой надежды, что ему поверят, объяснил врач. И, закончив писать телеграмму, вопреки своему предчувствию утешительно добавил: — Может быть, сегодня вечером будет дождь.

Телеграфист начал подсчитывать слова. Врач не слушал его: он увидел толстую книгу, лежавшую раскрытой рядом с телеграфным ключом. Спросил, не роман ли это.

— «Отверженные», Виктор Гюго, — ответил телеграфист, продолжая

работать. Поставив штамп на копии телеграммы, телеграфист вновь подошел к доктору. — Думаю, этого романа нам хватит до декабря.

Доктор Хиральдо знал: уже давно все свое свободное время телеграфист передает стихи телеграфистке из Сан-Бернардо-дель-Вьенто [14]. Но доктор не знал, что он читает с ней также и романы.

— О, это уже серьезно! — сказал он, листая захватанный том, разбудивший в нем неясные воспоминания отрочества. — Но Александр Дюма был бы, наверное, более кстати.

— А ей нравится Гюго, — объяснил телеграфист.

— Ты уже познакомился с ней?

Телеграфист отрицательно покачал головой.

— Нет, но это не имеет значения, — заявил он, — я узнал бы ее где угодно по прыгающему выстукиванию буквы «р».

В этот день доктор Хиральдо выделил часок дону Сабасу. Когда доктор пришел, тот лежал в кровати, укутанный простыней от пояса до пят; вид у него был изможденный.

— Карамельки понравились? — спросил врач.

— Жарко, спасу нет, — пожаловался дон Сабас и с трудом повернул свое тучное бабье тело. — Укол мне сделали после обеда.

Положив чемоданчик на стоящий у окна столик, доктор Хиральдо открыл его. Во дворе стрекотали цикады, комната была затенена густой листвой деревьев. Дон Сабас вышел во двор и помочился. Когда доктор набрал в пробирку янтарной жидкости для анализа, больной почувствовал себя лучше. Наблюдая за манипуляциями, связанными с анализом, он сказал:

— Знаете, доктор, как не хотелось бы умереть, так и не узнав, чем кончится эта история.

— Какая история?

— С анонимками.

Кротким взглядом дон Сабас следил за тем, как доктор подогрел пробирку на спиртовке, потом понюхал. Бесцветные глаза больного вопрошающе смотрели на врача.

— Результат хороший, — сказал врач, выливая пробу во дворе прямо на землю. Потом внимательно посмотрел на дона Сабаса: — Вас это тоже беспокоит?

— Нет, что вы, — ответил больной. — Просто как тот японец: все от страха дрожат, а он кайф ловит.

Доктор Хиральдо приготовил шприц.

— И кроме того, два дня тому назад мне самому приклеили анонимку,

а в ней все та же ерунда: рассказы о моих сыновьях и сказки об ослах.

Врач перетянул вену донна Сабаса резиновым жгутом. Больного особенно задевала история с ослами, и, поскольку врач о ней ничего не знал, дон Сабас принялся ее рассказывать.

— Лет двадцать тому назад я занимался торговлей ослами, — начал он. — По чистой случайности всех проданных мною ослов находили спустя два дня мертвыми, причем никаких следов насилия обнаружить не могли.

Он протянул доктору свою с дряблыми мышцами руку, чтобы тот взял кровь на анализ. Затем доктор Хиральдо положил на место укола ватный тампон, и дон Сабас согнул руку в локте:

— И знаете, что придумали в городе?

Врач отрицательно покачал головой.

— Пустили утку, будто бы я сам прокрадывался ночью на скотный двор и стрелял из револьвера ослу в задний проход.

Доктор Хиральдо сунул в карман пиджака пробирку с пробой крови.

— Ну что же, эта версия звучит очень правдоподобно, — сказал он.

— А на самом деле это были змеи, — сказал дон Сабас, усевшись на кровати как восточный божок. — Но тем не менее надо быть жалким трусом, чтобы в анонимке писать о том, что все и так знают.

— Этим анонимки и отличаются, — сказал врач. — В них пишут то, что все знают и что зачастую соответствует действительности.

На миг дон Сабас остолбенел и, вытирая простыней пот со лба, пробормотал:

— Да, так оно и есть. — Но затем сообразил, что к чему, и ответил: — Дело в том, что в этой стране любое состояние наживается такими правдами и неправдами, что хоть один дохлый осел, но найдется.

Врач услышал это, уже склонившись над умывальником; он увидел в воде свое лицо с ответной улыбкой, обнажившей безупречные, казавшиеся искусственными зубы. Глянув на пациента через плечо, он сказал:

— Я всегда считал, дорогой мой дон Сабас, что вашим единственным достоинством является бесстыдство.

Больной приободрился. Уколы врача всегда вызывали у него внезапный прилив сил.

— Это верно, но есть еще и моя сексуальная мощь, — сказал он и сопроводил свои слова резким сгибанием руки в локте, что могло послужить, видимо, и стимулом для циркуляции крови в организме. Но медик расценил это как крайнюю степень нахальства. Дон Сабас слегка подпрыгнул на ягодицах.

— Вот поэтому я просто помираю со смеху над этими анонимками. Говорят, что мои сыновья волочатся за любой мало-мальски созревшей девчонкой в наших краях, а я на это говорю: они — дети своего отца.

Доктору Хиральдо не удалось уйти, не выслушав снова многочисленных любовных историй дона Сабаса.

— О счастливая молодость, — воскликнул наконец больной. — Прекрасные были времена, когда шестнадцатилетняя девчушка стоила меньше, чем телка.

— Эти воспоминания приведут к повышению содержания сахара в вашей крови, — заметил врач.

Больной удивленно открыл рот.

— Ну нет, — возразил он. — Они лучше, чем ваш проклятый инсулин.

Выходя на улицу, врач подумал мельком: теперь по жилам дона Сабаса циркулирует крутой бульон. Но сейчас его мысли были заняты другим: анонимками. Вот уже несколько дней до него доходили всевозможные слухи. И, уходя от дона Сабаса, он поймал себя на мысли: уже целую неделю народ только и делает, что говорит об анонимках.

В этот день у него были еще визиты к больным, и везде разговор шел только об анонимках. Он выслушивал, не делая никаких комментариев, а лишь изображая на лице равнодушную улыбку. Но на самом деле пытался сделать кое-какие выводы.

Врач уже возвращался домой, когда падре Анхель, выходящий из дома вдовы Монтель, отвлек его от размышлений об анонимках.

— Ну, как ваши больные, доктор? — спросил падре Анхель.

— Мои — прекрасно, падре, — ответил врач. — А ваши?

Падре Анхель закусил губу. Он взял врача под руку, и они стали переходить через площадь.

— А почему вы спрашиваете?

— Да просто так, — сказал врач. — У меня есть сведения, что среди ваших пациентов вспыхнула серьезная эпидемия.

Падре Анхель отвернулся, и, как доктору показалось, сделал он это намеренно.

— Я только что разговаривал со вдовой Монтель, — сказал падре Анхель. — Бедняжка уже доведена до нервной болезни.

— Может быть, все дело в беспокойной совести, — предположил врач.

— Она одержима мыслью о самоубийстве.

Хотя они жили в разных концах городка, падре Анхель проводил доктора до его дома.

— А серьезно, падре, — возобновил разговор врач. — Что вы думаете

об анонимках?

— Я о них не думаю вообще, — сказал падре. — Но коль скоро вы меня спрашиваете, скажу: это дело рук тех, кто завидует нашему образцовому городку.

— Мы, медики, подобных диагнозов, святой отец, не ставили даже в средневековье, — возразил доктор Хиральдо.

Они остановились у дома врача. Неторопливо обмахиваясь, падре Анхель уже во второй раз за сегодняшний день повторил:

— Не следует придавать важность тому, что этого не заслуживает.

Доктора Хиральдо вдруг прорвало:

— Но почему, падре, вы так уверены, что в анонимках все — неправда?

— Я бы узнал из исповедей.

Врач холодно глянул ему в глаза:

— Значит, дело обстоит гораздо серьезней, если этого не смогли узнать даже вы на исповеди.

В этот день, побывав после обеда в домах бедноты, падре Анхель заметил, что об анонимках говорят и там, но по-иному: с юмором. Страдая острой головной болью — ее падре отнес на счет съеденных в обед фрикаделек, — он закончил вечернюю молитву, потом безо всякого аппетита поужинал. Затем он нашел список с моральной оценкой фильмов и в первый раз за всю свою жизнь, сделав двенадцать решительных колокольных ударов о полном запрещении показа картины, испытал темное чувство удовлетворения. И наконец, он поставил табуретку у двери на улицу, сел и стал наблюдать, кто же входит в кинотеатр вопреки его запрещению.

* * *

Вошел алькальд.

Усевшись в углу партера, он выкурил до начала фильма две сигареты. Щека его уже совсем не болела, но в десне и во всем теле еще жила память о прошлых мучительных ночах и об огромном количестве принятых анальгетиков, и поэтому от сигарет его затошнило.

Кинозал представлял собой обнесенный цементной стеной двор с навесом из оцинкованных железных листов, укрывавших лишь половину партера. Каждое утро затоптанная, заплеванная жевательной резинкой и покрытая слоем окурков трава вновь возрождалась к жизни.

На миг алькальду показалось, что необструганные деревянные скамьи и отделявшая кресла партера от галерки железная решетка поплыли перед глазами; секундами позже, вглядываясь в рябь на белой плоскости задней стены, служившей экраном, он понял: на него накатывает волна головокружения.

Когда потушили свет, он почувствовал себя лучше. Оглушительная музыка, выплескивавшаяся из громкоговорителя, прекратилась, но еще более ощутимой стала вибрация электродвижка, установленного в деревянной будке рядом с проектором.

Перед фильмом показали несколько рекламных роликов. Некоторое время в полумраке слышался чей-то шепот, неясные шаги, приглушенный смех. Внезапно алькальд вздрогнул, подумав, что этот тайный приход в кинотеатр вопреки строгим правилам, установленным падре Анхелем, можно сравнить с подрывной деятельностью.

Проходившего рядом владельца кинотеатра алькальд узнал лишь по запаху одеколона.

— Бандюга, — зашептал алькальд, схватив его за руку, — будешь платить специальный налог.

Смеясь сквозь зубы, владелец сел рядом.

— Картина вполне нравственная, — сказал он.

— По мне, — сказал алькальд, — пусть все они будут безнравственными. Нет ничего скучнее нравственного кино.

Несколько лет назад никто всерьез не принимал эту колокольную цензуру. Но каждое воскресенье во время мессы падре Анхель называл с амвона и изгонял из церкви женщин, нарушивших в течение недели его запрет.

— Раньше спасала задняя дверь, — объяснил владелец кинотеатра.

Алькальд разговаривал, следя за старым информационным роликом, и всякий раз замолкал, когда на экране появлялось что-нибудь интересное.

— В принципе все одно и то же, — сказал он. — Священник отказывает в причастии тем женщинам, что носят платья с короткими рукавами, но они продолжают ходить в платьях с короткими рукавами и только на мессу надевают длинные накладные.

После информационного выпуска шла реклама фильмов следующей недели. Ее просмотрели в молчании. Когда реклама закончилась, владелец склонился к алькальду.

— лейтенант, — прошептал он ему, — купите у меня этот барак.

Алькальд не спускал глаз с экрана.

— Это — не бизнес.

— Для меня — не бизнес, — сказал владелец. — Но для вас, наоборот, это может стать золотым дном. Ведь ясно как день: к вам священник со своим колокольным звоном не посмеет и сунуться.

Прежде чем ответить, алькальд подумал.

— Идея сама по себе толковая, — сказал он.

Однако ничего конкретного не добавил. Он оперся ногами о переднюю скамью и погрузился в хитросплетения запутанной драмы, которая в конечном счете, по его мнению, не стоила и четырех колокольных ударов.

Выйдя из кино, он задержался в бильярдной, где в это время разыгрывалась лотерея. Стояла духота, из радиоприемника звучала какая-то визгливая музыка. Выпив бутылку минералки, алькальд отправился спать.

Он безмятежно шел берегом реки, чувствуя в темноте ее спокойное сильное течение, прислушиваясь к урчанию воды в глубинах и вдыхая терпкий запах, сравнимый, пожалуй, лишь с запахом крупного зверя. У дверей в спальню он отпрянул и выхватил револьвер из кобуры.

— Выходите на свет, — сказал он напряженным голосом, — или я сейчас вас продырявлю.

Из темноты раздался мелодичный голос:

— Не нервничай, лейтенант.

Он так и держал револьвер на взводе, пока человек не вышел на свет: это была Кассандра.

— Твоя жизнь висела на волоске, — сказал алькальд.

Он пригласил ее в спальню. Довольно долго Кассандра говорила, перескакивая с одной темы на другую. Она села в гамак и, не переставая говорить, сбросила с ног туфли и теперь, с некоторой долей безмятежности, рассматривала ногти на ногах, окрашенные в ярко-красный цвет.

Обмахиваясь фуражкой, алькальд сидел напротив нее и, соблюдая правила вежливости, поддерживал разговор. Он снова закурил. Когда пробило двенадцать, Кассандра растянулась в гамаке кверху лицом и, протянув к нему увитую позвякивающими браслетами руку, ущипнула его за нос.

— Уже поздно, — сказала она. — Туши свет.

Алькальд улыбнулся.

— Я тебя звал не для этого, — сказал он.

Она не поняла.

— Умеешь гадать? — спросил алькальд.

Кассандра снова села.

— Конечно, — сказала она. И потом, поняв, надела туфли. — Но я не захватила с собой колоду, — сказала она.

— На Бога надейся, а сам не плошай, — с улыбкой сказал алькальд.

Со дна чемодана он вынул потертую колоду карт. Кассандра внимательно и серьезно просмотрела все карты с обеих сторон.

— У меня колода лучше, — сказала она. — Но как бы то ни было, важно, что выпадет.

Алькальд подтащил столик и уселся на него. Кассандра вынула одну карту.

— Любовь или дела? — спросила она.

Алькальд вытер вспотевшие руки.

— Дела, — сказал он.

VI

Какой-то оставшийся без призора осел укрылся от дождя под навесом дома падре Анхеля и всю ночь барабанил копытами в стену его спальни. Ночь была беспокойная. Только под утро падре удалось забыться коротким сном; он проснулся в подавленном настроении. Дремлющие под морозящим дождем туберозы, разящий запах отхожего места и ставшее еще более мрачным после растаявших в воздухе пяти ударов колокола помещение церкви — все это, казалось, в сговоре, чтобы сделать утро тяжелым и невыносимым.

Из ризницы, где он переодевался к мессе, падре Анхелю было слышно, как ходит Три니다д, собирая дохлых мышей; в церковь в это время бесшумно входили женщины, посещающие службу каждый день. Во время мессы он со все возрастающим раздражением подмечал ошибки церковного служки, его дикую латынь; и под конец его охватило ощущение неминуемого краха, терзавшее его в недобрые времена жизни.

Он шел уже завтракать, когда столкнулся с сияющей Три니다д.

— Сегодня попались еще шесть, — сказала та, потряхивая коробкой с дохлыми мышами. Падре попытался взбодриться.

— Прекрасно, — ответил он. — Нам остается только найти их норки, чтобы покончить с ними раз и навсегда.

Три니다д норки уже обнаружила. Она стала объяснять, как смогла отыскать отверстия в разных уголках храма, особенно в звоннице и купели, и залить их жидким асфальтом. Этим утром Три니다д видела: мышь билась, словно безумная, о стенки, бесполезно проискав всю ночь вход в свое жилище.

Они вышли в небольшой, мощный камнем двор, где стебли тубероз стали после сна выпрямляться. Три니다д задержалась, выбрасывая дохлых мышей в отхожее место. Когда она вошла в комнату падре Анхеля, тот готовился завтракать: он откинул салфетку; под ней, как и каждое утро, словно по волшебству, его ждал присланный из дома вдовы Асис завтрак.

— Я забыла сказать, что не смогла купить мышьяку, — войдя, заговорила Три니다д. — Дон Лало Москоте сказал, что без врачебного рецепта продать его не может.

— В этом уже нет нужды, — сказал падре Анхель. — Они и так подохнут в своих норах от удушья.

Он подвинул стул к столу и стал расставлять чашку, тарелку с кусками

кукурузного пирога и кофейник, украшенный рисунком, изображающим японского дракона. Тринидад открыла окно.

— Всегда лучше быть наготове, а вдруг они снова появятся, — сказала она.

Падре Анхель налил себе кофе и неожиданно, посмотрев на подходящую к столу Тринидад в бесформенном халате и инвалидных башмаках, замер.

— Ты чересчур беспокоишься об этом, — сказал он.

Никогда прежде густые брови Тринидад не вызывали в нем никакого признака беспокойства. Сейчас, не в силах совладать с дрожью в пальцах, он налил кофе, положил две ложки сахара и принялся размешивать в чашке, устремив свой взор на висевшее на стене распятие.

— Когда ты исповедовалась?

— В пятницу.

— Скажи мне, — сказал падре Анхель, — хоть раз ты скрыла от меня какой-либо грех?

Тринидад отрицательно покачала головой.

Падре Анхель закрыл глаза. Внезапно он перестал размешивать кофе, положил ложечку на блюдце и схватил Тринидад за руку.

— Стань на колени, — сказал он.

Растерявшись, Тринидад поставила картонную коробку на пол и стала перед падре на колени.

— Читай «Грехи мои», — сказал падре Анхель, придав своему голосу отеческий тон исповедника.

Сжав руки и прижав их к груди, Тринидад принялась неразборчиво бубнить молитву, пока падре не опустил ей руку на плечо и не сказал:

— Хватит.

— Я лгала, — сказала Тринидад.

— Что еще?

— У меня были дурные мысли.

Так она исповедовалась всегда: всегда называя, в общем, одни и те же грехи и всегда в одном и том же порядке. В этот раз, однако, падре Анхель не смог устоять перед желанием докопаться до сути.

— Например? — сказал он.

— Не знаю, — заколебалась Тринидад. — Иногда просто приходят дурные мысли.

Падре Анхель выпрямился:

— Тебе никогда не приходила в голову мысль лишиться себя жизни?

— Пресвятая Дева Мария! — воскликнула Тринидад, не поднимая

головы, и постучала по ножке стола. Потом ответила: — Нет, падре.

Падре Анхель заставил ее поднять голову и с изумлением увидел: глаза девушки наполнились слезами.

— Мышьяк действительно тебе был нужен только для мышей?

— Да, падре.

— Тогда почему ты плачешь?

Тринидад попыталась опустить голову, но падре крепко держал ее за подбородок. Девушка залилась слезами. Падре Анхель чувствовал: они, словно теплый уксус, текут по его пальцам.

— Постарайся успокоиться, — сказал он ей. — Исповедь ты еще не закончила.

Некоторое время она беззвучно плакала; падре позволил ей выплакаться. И когда он почувствовал, что девушка плакать перестала, мягко сказал:

— Ну хорошо, а теперь расскажи мне все.

Тринидад высморкалась в подол юбки, проглотила тугой и соленый ком слез. Когда она заговорила снова, ее грудной голос зазвучал удивительно красиво.

— Меня преследует мой дядя Амбросио, — сказала она.

— Каким образом?

— Хочет, чтобы я разрешила ему провести ночь в моей постели, — ответила Тринидад.

— Продолжай дальше.

— Больше ничего не было, — сказала Тринидад. — Клянусь Господом, больше ничего не было.

— Не клянись, — сурово одернул ее падре. Затем снова спросил своим спокойным голосом исповедника: — Скажи, с кем ты спишь?

— С мамой и с остальными женщинами, — сказала Тринидад. — Семеро в одной комнате.

— А он?

— В другой комнате, с мужчинами, — ответила Тринидад.

— Он заходил хоть раз в твою комнату?

Тринидад отрицательно покачала головой.

— Скажи мне правду, — настаивал падре Анхель. — Не бойся! Хоть раз он пытался войти в твою комнату?

— Один раз.

— Как это было?

— Не знаю, — сказала Тринидад. — Когда я проснулась, он уже был под москитником, тихонький такой. Притом все твердил, что ничего мне не

сделает, что только хочет спать рядом со мной, потому что боится петухов.

— Каких петухов?

— Не знаю, — ответила Тринидад. — Так он мне сказал.

— А ты, что ты ему сказала?

— Что если он не уйдет, я подниму крик и всех разбужу.

— И что он сделал?

— Тут проснулась Кастула и спросила, что происходит, а я ответила, что ничего, что, наверное, мне что-то приснилось. А он тогда замер, как жмурик, и я даже не заметила, как он убрался из-под москитника.

— Он был одет, — утвердительно произнес падре.

— Ну, так, как обычно спит, — сказала Тринидад, — в одних подштанниках.

— Он не пытался тронуть тебя?

— Нет, падре.

— Скажи правду.

— Это правда, падре, — продолжала твердить Тринидад. — Клянусь Господом Богом.

Падре Анхель снова попытался поднять ее голову и встретился со взглядом грустных и влажных глаз.

— Почему ты это от меня скрывала?

— Я боялась.

— Боялась чего?

— Сама не знаю, падре.

Он положил руку на ее плечо и в чем-то долго ее убеждал. Тринидад кивала в знак согласия. Когда исповедь подошла к концу, падре вместе с ней стал тихо читать «Господь мой Иисус Христос, истинный Бог...». Молился он истово, с чувством какого-то ужаса, вспоминая, насколько позволяла ему память, всю свою жизнь. И когда стал отпускать грехи, его снова захлестнуло предчувствие надвигающейся беды.

* * *

Алькальд толкнул дверь и громко позвал: «Судья!» Жена судьи Аркадио, вытирая руки о юбку, вышла из спальни.

— Он не появлялся уже две ночи, — сказала она.

— Проклятие! — воскликнул алькальд. — А вчера он не был в суде. По срочному делу я искал его всюду, но никто просто понятия не имеет, где он. Вам не приходит в голову, где он может быть?

— Должен быть там, где шлюхи.

Алькальд вышел, не закрыв за собой дверь. Он заглянул в бильярдную, где на всю громкость автомат проигрывал какую-то сладостную песню. Алькальд сразу же пошел к отгороженному перегородкой помещению в глубине, выкрикивая: «Судья!» Хозяин бильярдной, занятый переливанием рома в плетеную бутылку, прервал работу и крикнул:

— Его нет, лейтенант.

Алькальд прошел за перегородку. Несколько человек играли в карты. Судью Аркадио не видел никто.

— Черт побери, — сказал алькальд. — В этом городке все обо всем знают, но сейчас, когда мне нужен судья, никто не может сказать, где он.

— Спросите это у того, кто клеит анонимки, — посоветовал дон Роке.

— Не пудрите мне мозги этой макулатурой, — сказал алькальд.

Судья Аркадио не оказалось и в конторе. Было девять часов, и секретарь суда уже дремал в крытом переходе двора. Алькальд направился в казарму, приказал трем полицейским одеться и послал их на поиски судьи Аркадио — в танцевальный зал и на квартиру к трем известным всему городку женщинам, занимающимся тайным ремеслом. Затем вышел на улицу и побрел без определенной цели. В окно парикмахерской он неожиданно увидел судью Аркадио: тот сидел в кресле широко раздвинув ноги, и лицо его было накрыто горячим полотенцем.

— Черт возьми, судья, — заорал алькальд, — уже два дня я ищу вас!

Парикмахер снял полотенце, и алькальд увидел заплывшие глаза судьи, подбородок, словно тень, укрывала трехдневная щетина.

— Вы как сквозь землю провалились, а жена ваша рожает, — сказал он.

Судья Аркадио пулей выскочил из кресла:

— Ого!

Алькальд шумно рассмеялся, толкнул судью назад в кресло.

— Не спешите, — сказал он. — Вы мне нужны не для этого.

Судья Аркадио снова удобно растянулся в кресле и закрыл глаза.

— Кончайте бриться и сразу же в суд, — сказал алькальд. — Я подожду. — Он сел на скамью. — А где вас черт носил?

— Да там, — сказал неопределенно судья.

Бриться в эту парикмахерскую алькальд не ходил. Пару раз, наверное, он видел прищипленную на стене табличку: «Вести разговоры о политике воспрещается», — когда-то она показалась ему здесь к месту. Но на этот раз, однако, она вызвала его раздражение.

— Гуардиола! — позвал он.

Вытерев бритву о штаны, парикмахер вопросительно застыл:

— В чем дело, лейтенант?

— Кто тебе разрешил повесить вот это? — спросил алькальд, указав на объявление.

— Житейский опыт, — сказал парикмахер.

Алькальд схватил табуретку, приставил ее к стене и встал на нее, чтобы снять объявление.

— Только правительство имеет здесь право что-либо запретить, — сказал он. — У нас демократия.

Парикмахер снова принялся за работу.

— Никто не вправе мешать людям выражать свои мысли, — продолжал алькальд, разрывая картонное объявление. Выбросив куски в мусорную корзину, он пошел вымыть руки.

— Вот видишь, Гуардиола, — назидательно сказал судья Аркадио, — что значит строить из себя дурачка.

Алькальд поискал парикмахера глазами в зеркале, — тот был поглощен работой. Вытирая руки, он не спускал глаз с брадобрея.

— Разница между раньше и сейчас заключается в том, — сказал он, — что раньше заправляли политики, а сейчас — правительство.

— Слышал, Гуардиола? — осведомился судья Аркадио с густо намыленным лицом.

— Разумеется, — отозвался парикмахер.

Выйдя на улицу, алькальд подтолкнул судью Аркадио в направлении суда. Под непрекращающимся морозящим дождем улицы, казалось, были покрыты мыльной пеной.

— Я всегда считал, что в этой парикмахерской гнездо заговорщиков, — сказал алькальд.

— Дальше разговоров, — сказал судья Аркадио, — дело не идет.

— Это-то меня истораживает, — отпарировал алькальд. — Уж очень они покладистые.

— В истории человечества, — назидательно сказал судья, — среди заговорщиков не было ни одного парикмахера. И наоборот, не было ни одного портного, который бы не был заговорщиком.

Алькальд не отпускал руку судьи Аркадио, пока не усадил его во вращающееся кресло. Зевая, в контору вошел секретарь. В руках у него был напечатанный на машинке лист.

— Итак, — сказал он алькальду, — начнем работать.

Алькальд сдвинул фуражку назад и взял лист:

— Что это такое?

— Это судье, — сказал секретарь. — Список лиц, на кого анонимки не появлялись.

Алькальд в растерянности посмотрел на судью Аркадио.

— О, черт возьми! — воскликнул он. — Значит, и вы занялись этой ерундой?!

— Ну, решил прочитать как бы детектив, — стал оправдываться судья.

Алькальд прочитал список.

— Ему нет цены, — принялся объяснять секретарь, — наверняка автор анонимок — один из них. Логично?

Судья Аркадио забрал у алькальда список.

— Он круглый дурак, — сказал он, обращаясь к алькальду. А потом — секретарю: — Если я — анонимщик, то, чтобы отвести от себя всяческие подозрения, в первую очередь наклею анонимку на свой собственный дом. И спросил у алькальда: — Вы согласны со мной, лейтенант?

— Это проблемы жителей, — ответил алькальд, — пусть они сами их и расхлебывают. И у нас, судья, голова об этом болеть не должна.

Судья Аркадио разорвал лист, скатал в шарик и выбросил во двор:

— Разумеется.

Но раньше чем судья ответил, алькальд уже забыл об инциденте напрочь. Опершись ладонями о письменный стол он сказал:

— Итак, мне нужно, чтобы вы покопались в своих книгах и ответили мне на такой заковыристый вопросик: в связи с затоплением нижних кварталов тамошний народ перенес свои дома на принадлежащие мне земли за кладбищем. Что я должен делать в этом случае?

Судья Аркадио улыбнулся.

— Чтобы ответить на этот вопросик, не нужно даже заходить в контору, — сказал он. — Проще пареной репы: муниципалитет отдает земли поселенцам и выплачивает соответствующую компенсацию тому, кто докажет документально, что эти земли принадлежат ему.

— У меня есть все необходимые бумаги, — сказал алькальд.

— Тогда остается только назначить экспертов для оценки, — сказал судья. — А заплатит муниципалитет.

— А кто их назначает?

— Вы сами и можете их назначить.

Поправляя кобуру револьвера, алькальд направился к выходу. Глядя ему вслед, судья Аркадио подумал: жизнь — это всего лишь нескончаемый ряд счастливых возможностей выжить.

— Не следует нервничать по такому пустяковому делу, — еще раз с улыбкой сказал он.

— А я и не нервничаю, — серьезно ответил алькальд, — но от этого оно не перестает быть щекотливым.

— Все верно, но сначала нужно назначить поверенного, — неожиданно вклинился в разговор секретарь.

Обратившись к судье, алькальд спросил:

— Действительно нужно?

— При чрезвычайном положении в этом нет абсолютно никакой необходимости, — объяснил судья, — но, разумеется, если делом займется поверенный, ваше положение будет вовсе неуязвимым, тем более что вы — собственник спорных земель.

— Тогда надо его назначить, — сказал алькальд.

* * *

Не переставая наблюдать за грифами, дерущимися из-за чьих-то внутренностей посередине улицы, сеньор Бенхамин сменил ногу на подставке чистильщика. Он следил за неуклюжими движениями этих важных и церемонных птиц, с похожим на гофрированный воротник оперением на шее, словно исполнявших старинный танец, и поражался удивительному сходству с ними людей, когда те облачаются в Прощеное воскресенье в подобные оперению этих стервятников маскарадные костюмы. Мальчик-чистильщик, смазав светлым кремом другую туфлю, снова ударил рукой по ящику, приглашая к смене ноги.

В былые времена зарабатывавший на жизнь составлением всевозможных прошений, сеньор Бенхамин никогда и никуда не спешил. В его лавке — а он ее сентаво за сентаво проел, остались лишь галлон керосина и связка свечей — время текло незаметно.

— Хоть и дождь, а все равно жарко.

Но с этим сеньор Бенхамин согласиться не мог: на нем был льняной костюм без единого пятнышка пота, — а у мальчонки вся спина была уже мокрая.

— Жара — это вопрос состояния ума, — сказал сеньор Бенхамин. — Все зависит от того, обращать на нее внимание или нет.

Мальчик ничего по этому поводу не сказал. Он снова ударил по ящику, и минуту спустя работа была закончена. Пройдя внутрь своей мрачной лавки, заставленной пустыми шкафами, сеньор Бенхамин надел пиджак и соломенную шляпу. Прикрываясь от мороси зонтиком, он перешел улицу и постучал в окно стоявшего на другой стороне дома. В приоткрытое окошко

выглянула девушка с очень бледной кожей и черными как смоль волосами.

— Добрый день, Мина, — сказал сеньор Бенхамин. — Ты еще не собираешься обедать?

Мина сказала, что нет, и открыла окно настежь. Она сидела у большой корзины, полной проволоки и разноцветной бумаги. На коленях у нее лежали клубок ниток, ножницы и незаконченный букет из искусственных цветов. Проигрыватель был включен, звучала какая-то песня.

— Будь добра, присмотри за лавкой, пока я не вернусь, — попросил сеньор Бенхамин.

— Вы надолго?

Сеньор Бенхамин с напряженным вниманием слушал песню.

— Я к зубному, — ответил он, — через полчаса буду здесь.

— Ну тогда ладно, — согласилась Мина, — а то эта слепая не выносит, когда я подолгу стою у окна.

Сеньор Бенхамин уже не слушал пластинку.

— Теперешние песни все на одно лицо, — выразил он свое мнение.

Мина поднесла законченный цветок к верхнему краю длинного стебля, сделанного из обвитой зеленой бумагой проволоки. Она прикрутила его и замерла, очарованная совершеннейшим созвучием цветка и музыки, звучавшей с пластинки.

— Вы не любите музыки? — спросила она.

Но сеньор Бенхамин уже ушел, обходя дерущихся грифов на цыпочках, чтобы не спугнуть их. Мина взялась за работу вновь лишь тогда, когда увидела, что он постучал в дверь к зубному врачу.

— По моему мнению, — открывая дверь, сказал врач, — у хамелеона чувствительность — в его глазах.

— Возможно, — согласился сеньор Бенхамин. — Но вы это к чему?

— А по радио только что говорили, что слепые хамелеоны цвета не меняют, — объяснил дантист.

Поставив в угол раскрытый зонтик, сеньор Бенхамин повесил на гвоздь пиджак и шляпу и сел в кресло. Врач сбивал в ступке розовую пасту.

— Теперь о многом говорят, — сказал сеньор Бенхамин.

Не только здесь, но и в любой другой обстановке он всегда говорил с налетом таинственности.

— О хамелеонах тоже?

— Обо всем.

Врач с подготовленной для слепка пастой подошел к креслу. Сеньор Бенхамин вынул треснувшую вставную челюсть и, завернув ее в носовой платок, положил на застекленную полку, висевшую рядом с креслом.

Беззубый, узкоплечий и тонкокостный, он чем-то напоминал святого. Заполнив ему розовой пастой рот до самого неба, врач приказал сжать челюсти.

— Так будет спокойней, — сказал он, глядя ему в глаза, — а то я ведь трус.

Сеньор Бенхамин попытался было что-то сказать, но дантист зажал ему рот. «Нет, — подумал Бенхамин, — это совсем не так». Как и все, он знал, что только зубной врач, единственный из приговоренных к смерти, не покинул свой дом. Ему изрешетили пулями стены, дали сутки для отъезда из городка, но сломить его так и не удалось. Врач перенес кабинет во внутреннюю комнату и продолжал, не теряя самообладания, работать — пока не прошли эти длинные месяцы террора, — с револьвером под рукой.

Пока шла работа, дантист видел, как в глазах сеньора Бенхамина нет-нет да и вспыхивал один и тот же вопрос, только окрашенный большей или меньшей тревогой. Но, дожидаясь, пока затвердеет масса, врач не разрешал ему открыть рот. Потом извлек слепок.

— Я не это имел в виду, — проговорил сеньор Бенхамин, переходя на свободное дыхание, — а анонимки.

— А-а, — протянул зубной врач. — Так и тебя они интересуют?

— Они — признак социального распада, — сказал сеньор Бенхамин.

Он снова вставил в рот зубной протез и начал медленно и старательно надевать пиджак.

— Они — признак того, что все тайное рано или поздно становится явным, — безразлично изрек дантист. Посмотрев через окно на потемневшее небо, предложил: — Если хочешь, пережди у меня, пока не пройдет дождь.

Сеньор Бенхамин повесил зонт на локоть.

— Лавка осталась без присмотра, — сказал он, тоже поглядывая на аспидную тучу, несущую в своем чреве дождь. И, помахав на прощание шляпой, вышел.

— И выбрось из головы эти мысли, Аурелио, — сказал он с порога. — Никто не думает о тебе как о трусе: ты вытащил зуб алькальду.

— Тогда, — сказал врач, — подожди минутку.

Он подошел и дал сеньору Бенхамину сложенный вдвое листок бумаги:

— Прочти и передай другому.

Сеньору Бенхамину не нужно было разворачивать листок, чтобы догадаться, что там написано. Он посмотрел на врача, от удивления раскрыв рот:

— Опять?

Дантист утвердительно кивнул головой и не отходил от двери, пока сеньор Бенхамин не ушел.

В двенадцать жена позвала врача обедать. Столовая была обставлена просто и бедно; у мебели был такой вид, словно она и на свет появилась уже старой. За столом сидела их двадцатилетняя дочь Анхела и штопала чулки. На перилах лестницы, ведущей во двор, стояли красные глиняные горшки с лекарственными растениями.

— Бедняга Бенхаминсито, [\[15\]](#) — сказал врач, садясь на свое место за круглым столом, — ужасно озабочен анонимками.

— Все сейчас озабочены анонимками.

— Семейство Тобаров уже собирается уезжать из городка, — вмешалась в разговор Анхела.

Мать стала наливать в тарелки суп.

— Они все распродают, — сказала она.

Втягивая носом жаркий аромат супа, дантист был сейчас далек от тревог и забот своей жены.

— Вернутся, — сказал он. — У бесстыдников память короткая.

Дуя на ложку, он ждал, что скажет по этому поводу его дочь — девица с не очень приветливым, как и у него самого, лицом, но с удивительно живым и любознательным взглядом. Однако ожидание отца оказалось напрасным: она заговорила о цирке. Сказала: там один мужчина распиливает пилой свою жену пополам, другой сует голову льву в пасть, какой-то карлик распевает песни, а акробат крутит тройное сальто-мортале над остриями ножей. Врач слушал ее и молчал, а когда дочь закончила свой рассказ, пообещал, что если не будет дождя, то сегодня вечером все они пойдут в цирк.

В спальне, вешая гамак на время сиесты, он понял, что его обещание сходить в цирк настроения жены не изменило: она, если вдруг и на них появится анонимка, уедет из города.

Врач выслушал жену без удивления.

— Вот это была бы потеха, — сказал он. — Пулями выгнать нас не смогли, а вот приклеенной на дверь бумажкой — выгнали.

Он снял туфли, забрался в гамак прямо в носках и, стараясь ее успокоить, сказал:

— Да ты не беспокойся: нам не приклеят, — это исключено.

— Нет на них креста, — сказала жена.

— Как знать, — ответил врач, — они ведь соображают: со мной шутки плохи.

С бесконечно усталым видом женщина вытянулась на постели:

— Знать бы, кто их клеит.

— Тот, кто клеит, знает, — ответил дантист.

* * *

Бывало, алькальд целыми днями обходился без еды: просто забывал поесть. Его деятельность тоже не подчинялась никаким правилам: на смену лихорадочной активности приходило время праздности и скуки; тогда он слонялся по городку без какой-либо определенной цели или же, теряя напрочь ощущение времени, запирался в своем бронированном кабинете. Всегда один, всегда держа нос по ветру, без особых симпатий и пристрастий, он и не пытался как-либо упорядочить свою жизнь. И только когда голод становился нестерпимым, он, независимо от времени, появлялся в гостинице и съедал все, что ни подавали.

В тот день он обедал вместе с судьей Аркадио. Все послеобеденное время, пока не оформили продажу земель, они пробыли вместе. Эксперты выполнили свой долг. Временно назначенный поверенный выполнил все, что было положено, за два часа. Вскоре, в начале пятого, они входили в бильярдную, — вид у них был усталый, словно они вернулись из тяжелой экспедиции в будущее.

— Итак, дело с концом, — сказал алькальд, отряхивая руки.

Судья Аркадио оставил его слова без внимания. Заметив, как тот на ощупь ищет у стойки скамейку, алькальд протянул ему анальгетик.

— стакан воды, — велел дону Роке алькальд.

— Холодного пива, — внес коррективы судья Аркадио, опустив лоб на стойку.

— Одно пиво, — поправился алькальд, выкладывая деньги на стойку. — Он его заработал, вкалывал, как настоящий мужчина.

Выпив пиво, судья Аркадио стал растирать пальцами кожу под волосами на голове. Все ждали, когда мимо пройдет цирк, в бильярдной царило праздничное настроение.

Со своего места алькальд видел все, что происходило на улице. Под оглушительные звуки духовых и треск ударных на карликовом слоне с ушами, как листья маланги^[16], выехала сначала девушка в серебристом платье. За ней прошли клоуны и акробаты. Небо полностью очистилось, — предзакатное солнце стало прогревать воздух умытого дождем вечера. Когда музыка смолкла — чтобы человек на ходулях мог огласить

программу, — весь городок, казалось, воспарил над землей в молчаливом восторге перед чудом.

Наблюдая за цирковым шествием из своей комнаты, падре Анхель покачивал в такт музыке головой. Светлое ощущение праздника, словно вернувшееся к нему из детства, не покидало его и за ужином, и потом — когда он уже перестал наблюдать за входящими в кино и снова очутился в спальне наедине с собой. Помолвившись, он опустился в плетеную качалку и долго просидел, перебирая невеселые мысли, не заметив, как пробило девять, как умолк громкоговоритель кино и его сменило монотонное кваканье одинокой лягушки. Поднявшись, падре подошел к рабочему столу и стал писать обращение к алькальду.

* * *

Заняв в цирке по настоянию владельца одно из почетных мест, алькальд посмотрел начальные номера представления: акробатов на трапециях и клоунов. Затем, затянутая в черный бархат и с повязкой на глазах, появилась Кассандра, — она вызвалась угадывать мысли зрителей. Алькальд поспешил ретироваться. Как обычно, он обошел городок и в десять пришел в полицейские казармы. Здесь его ждало написанное на куске ватмана отчетливым почерком обращение падре Анхеля. Официальный тон обращения встревожил алькальда.

Падре Анхель уже разделся, когда алькальд постучал в дверь.

— Вот те на! — воскликнул священник. — Я не ожидал вас так скоро.

Переступая через порог, алькальд снял фуражку.

— Страсть как люблю отвечать на письма, — улыбаясь, ответил представитель власти.

Вращая фуражку словно диск, он запустил ее в плетеную качалку. Под полками, где хранились большие глиняные кувшины, в глубокой глиняной миске охлаждалось в воде несколько бутылок лимонада. Падре Анхель вынул одну бутылку:

— Выпьете лимонаду?

Алькальд утвердительно кивнул.

— Я вас побеспокоил, — вымолвил священник, решив говорить прямо, — для того, чтобы выразить мою озабоченность в связи с вашим безразличным отношением к анонимкам.

Слова эти были сказаны как бы в шутку, но алькальд воспринял их буквально. Озадаченный, он спросил самого себя: неужели анонимки

допекли и падре Анхеля?

— Однако, падре, даже вас беспокоят анонимки.

В поисках открывалки падре Анхель выдвигал ящики стола, осматривая их один за другим.

— Меня беспокоят не анонимки сами по себе, — сказал он с легкой долей растерянности, не зная, что делать с бутылкой, — а, скажем, определенная степень несправедливости, связанная со всем этим.

Алькальд взял у него бутылку и левой рукой ловко открыл ее о подковку своего форменного ботинка, что вызвало у падре Анхеля чувство восхищения. Он слизнул языком льющуюся через край горлышка пену.

— Частная жизнь есть частная жизнь, — начал он и умолк, не закончив мысли. — На полном серьезе, падре, я не знаю, что здесь можно сделать.

Падре сел за рабочий стол.

— А должны были бы знать, — сказал он. — В конце концов, подобные ситуации, видимо, имели место и раньше. — И, обведя комнату неопределенным взглядом, уже другим тоном сказал: — Следует что-то предпринять до воскресенья.

— Сегодня уже четверг, — уточнил алькальд.

— Знаю, — ответил падре и потом порывисто добавил: — Быть может, время еще не потеряно и вы сможете выполнить свой долг.

Алькальд так сжал бутылку, словно хотел скрутить ей горло. Падре Анхель смотрел, как алькальд ходит по комнате из угла в угол — самоуверенный, стройный, несмотря на возраст, — и вдруг остро ощутил чувство неполноценности.

— Вы же и сами видите, — снова, словно втолковывая ребенку, заговорил алькальд. — В этом деле нет ничего особенного.

Часы на башне пробили одиннадцать. Алькальд подождал, пока отзвуки последнего удара не угаснут, и тогда, опершись руками о крышку стола, он склонился к падре; на его лице была написана долго сдерживаемая тревога, которая теперь отразилась и в голосе.

— Выслушайте меня, падре, внимательно, — начал он. — В городке сейчас спокойно, народ начинает доверять властям. Любое проявление силы сейчас было бы неоправданным риском, тем более по такому незначительному поводу.

Падре Анхель одобрительно кивнул. Но потом попытался объяснить свою мысль:

— Я веду речь вообще о мерах в рамках, предусмотренных властями.

— Как бы то ни было, — продолжил алькальд, не изменив позы, — я

должен учитывать и обстоятельства. Вы ведь знаете: у меня в казарме торчат шестеро полицейских и получают дармовое жалованье, пальцем о палец не ударив. А заменить их мне не удастся.

— Я знаю, — отозвался падре Анхель. — В этом вашей вины нет.

— Теперь ни для кого не секрет, — не обращая внимания на попытку его прервать, продолжал алькальд с горячностью, — что трое из них — обычные уголовники, выпущенные из камер и одетые в полицейскую форму. Вот как обстоят дела, поэтому я не стану рисковать, посылая их на охоту за призраками.

Падре Анхель развел руками.

— Конечно, конечно, — признал он решительным тоном. — Это, разумеется, не вписывается ни в какие рамки. Но почему бы вам, к примеру, не обратиться к помощи добропорядочных граждан?

* * *

Алькальд выпрямился и, словно нехотя, сделал несколько глотков из бутылки. Его спина и грудь стали потными. Потом он сказал:

— Добропорядочные, как вы говорите, граждане помирают со смеху над анонимками.

— Не все.

— И кстати, несправедливо будоражить народ по поводу, который в конечном счете не стоит и выеденного яйца. По правде говоря, падре, — дружелюбно закончил алькальд, — до сегодняшнего вечера я и представить себе не мог, что нам с вами придется заниматься этим идиотским делом.

Лицо падре Анхеля смягчилось и стало каким-то материнским.

— В определенном смысле — придется, — возразил он и стал многословно объяснять свою позицию, используя готовые куски проповеди, которую уже начал сочинять в уме во время обеда у вдовы Асис. — Речь идет, если можно так выразиться, — подытожил он, — о случае морального террора.

Алькальд откровенно улыбнулся.

— Ладно, ладно, падре, — едва тот замолчал, сказал алькальд. — Не стоит приписывать этим бумажкам еще и философию. — И, поставив на стол недопитую бутылку, как можно примирительней добавил: — Но если вы придаете им такое значение, я постараюсь что-нибудь придумать.

Падре поблагодарил его. Не очень приятно, признался он, подниматься на амвон в воскресенье, когда сердце гложет беспокойство. Алькальд

попытался проникнуть в смысл объяснений падре, но тут вспомнил: время уже позднее, священнику пора ложиться спать.

VII

Пробуждая полузабытые воспоминания, над городком вновь рассыпалась барабанная дробь. Она зазвучала у бильярдной в десять утра и, словно став центром тяжести города, придала ему некое равновесие, но вот прозвучали три громких заключительных удара, и воцарилось тревожное ожидание.

— Смерть! — воскликнула вдова Монтъель, видя, как открываются двери и окна и люди со всех сторон устремляются на площадь. — Смерть пришла!

Но придя в себя от шока первого впечатления, она раздвинула балконные занавески, и ее взору предстала волнующаяся толпа, теснившаяся вокруг полицейского, готового зачитать указ. Голос глашатая тонул в огромном безмолвии площади. И несмотря на то, что слушала она приложив ладонь к уху, вдове Монтъель удалось услышать всего лишь два слова.

В доме никто толком не мог ей ничего объяснить. Указ был зачитан в соответствии с установленным властями ритуалом. Новый порядок уже правил в мире, но вдове не удалось найти никого, кто бы понял что-либо толком. Кухарку встревожила ее бледность.

— А о чем был указ?

— Именно это я и пытаюсь выяснить, но никто ничего не знает. Конечно, — добавила вдова, — с тех пор как существует мир, указы никогда не сулили ничего хорошего.

Тогда кухарка отправилась на улицу и вскоре, разузнав подробности, вернулась. С этого вечера и до особого распоряжения устанавливается комендантский час. Запрещается появляться на улице без пропуска, подписанного алькальдом, с восьми вечера до пяти утра. Если после троекратного приказа остановиться встреченный на улице человек не подчинится, полиция имеет право стрелять в него. Видимо алькальд создаст также гражданские патрули из отобранных им же людей для содействия полиции при ночных обходах.

Грызая ногти, вдова Монтъель спросила, по какой причине были приняты все эти меры.

— В указе не говорится, — ответила кухарка, — но все знают: причина одна — анонимки.

— Нет, сердце не обманывает, — испуганно воскликнула вдова. — В

нашем городе поселилась смерть.

Она велела вызвать сеньора Кармайкла. Повинуясь не мимолетному порыву, а какому-то более древнему и мудрому инстинкту, она приказала принести из кладовой в спальню кожаный дорожный сундук на медных заклепках, купленный еще Хосе Монтьелем за год до смерти, — с ним они путешествовали один-единственный раз. Она вынула из шкафа несколько костюмов и платьев, нижнее белье и туфли и положила их на дно сундука. Занявшись этим, она вдруг почувствовала, как ее охватило ощущение глубочайшего покоя, о чем вдова столько раз мечтала; в ее воображении рисовалось, что она где-то далеко от этого городка и этого дома, в комнате с очагом и небольшой терраской, где в ящиках растет душица, где только ей принадлежит право вспоминать о Хосе Монтьеле, а ее единственной заботой станет ожидание по понедельникам вечерних часов, чтобы погрузиться в чтение писем от дочерей.

Она сложила в сундук едва ли не минимум необходимых вещей, кожаный футляр с ножницами, лейкопластырь, пузырек йода, нитки с иголками, коробку с туфлями, четки и молитвенники, и тут ее стала мучить совесть: не слишком ли много она берет с собой вещей, простит ли ее Бог за это? Тогда, предварительно засунув гипсовую фигурку святого Рафаила в чулок, она осторожно положила его среди тряпок и закрыла сундук на ключ.

Когда появился сеньор Кармайкл, вдова была одета в самое скромное платье. В этот день сеньор Кармайкл пришел без зонта, что можно было бы истолковать как доброе предзнаменование. Но вдова даже не обратила на это внимания. Она вынула из кармана связку с ключами — к каждому из них была прикреплена картонная бирка, на которой было напечатано, от чего этот ключ, — и отдала ему со словами:

— Вручаю в ваши руки греховный мир Хосе Монтьеля. Делайте с ним что хотите.

Сеньор Кармайкл давно уже со страхом ожидал этого мгновения.

— Вы хотите сказать, — уточнил он, — что, пока здесь все не уляжется, вы куда-то на время уезжаете?

Спокойным, но решительным голосом вдова отрубил:

— Я уезжаю навсегда.

Не выказывая своей тревоги, сеньор Кармайкл вкратце изложил вдове положение вещей. Размеры наследства Хосе Монтьеля еще не уточнены. Многие из его имущества, приобретенное тем или иным путем, в спешке, без соблюдения необходимых формальностей, находится с точки зрения закона в неопределенном положении. Пока в этом хаосе — а о размерах

своего состояния сам Хосе Монтель в последние годы имел весьма смутное понятие — не будет наведен порядок, распродать наследство невозможно. Старший сын, служивший консулом в Германии, и обе дочери, зачарованные умопомрачительными мясными лавками Парижа, должны немедленно вернуться в страну или же назначить доверенных лиц для оформления своих прав на наследство. Иначе ничего продано быть не может.

Яркий свет, наконец-то озаривший тот лабиринт, в котором долгие два года блуждал сеньор Кармайкл, не смог, однако, проникнуть в душу вдовы Монтель, она оставалась непреклонна.

— Это не имеет значения, — твердо сказала она. — Мои дети счастливо живут в Европе, и им нечего делать в этой, как они говорят, дикой стране. Если вы хотите, сеньор Кармайкл, соберите все, что вы найдете в этом доме, в один тюк и бросьте его свиньям.

Сеньор Кармайкл возражать не стал. Воспользовавшись предложением, что, как бы то ни было, нужно кое-что подготовить для ее поездки, он пошел за врачом.

* * *

— А теперь, Гуардиола, посмотрим, чего стоит твой патриотизм.

Еще до того как алькальд появился в проеме двери, парикмахер и несколько беседовавших в парикмахерской мужчин узнали его по голосу.

— А также ваш, — продолжал он, указывая на двух рослых молодых парней. — Сегодня вечером получите винтовки, о чем вы так давно мечтали, и посмотрим, такие ли вы подлецы, чтобы повернуть их против нас.

Тон его слов не давал оснований для какого-либо сомнения.

— А всего лучше — метла, — подколот парикмахер. — Для охоты на ведьм лучше оружия, чем метла, не придумаешь.

Не удостоив алькальда даже взглядом, еще не принимая его слова всерьез, он продолжал брить затылок первого утреннего клиента. Только увидев, как алькальд выясняет, кто из мужчин резервист и поэтому должен уметь владеть оружием, он понял, что стал на самом деле одним из выбранных для патрулирования.

— Неужели, лейтенант, это правда, что вы хотите втянуть нас в эту хреновину? — спросил он.

— Вот те раз, — взорвался алькальд. — Всю жизнь скулите по углам о

винтовке, а сейчас, когда вам ее дадут, глазам своим не верите.

Он стал за спиной парикмахера, откуда мог в зеркало видеть всех.

— На полном серьезе, — сказал он, переходя на повелительный тон. — Сегодня в шесть вечера резервистам первой категории прибыть в казарму.

Парикмахер посмотрел на него в зеркало.

— А если у меня будет воспаление легких? — спросил он.

— Мы тебе его вылечим в тюрьме, — ответил алькальд.

А в это время в бильярдной проигрыватель раскручивал бесконечную спираль слащавого болеро. Салон был пуст, но на некоторых столах еще оставались недопитые бутылки и стаканы.

— Ну и удружили вы мне, лейтенант, — сказал дон Роке, увидев входящего алькальда. — Приходится закрывать в семь.

Алькальд прошел прямо в глубь салона, где карточные столики были уже тоже пусты. Он открыл дверь уборной, заглянул туда и потом возвратился к стойке. Проходя мимо бильярдного стола, он неожиданно поднял накрывавшее его сукно и сказал:

— Не будьте же трусами, вылезайте.

Страхивая пыль с брюк, из-под стола вылезли два паренька. Один из них был бледен. У другого, младшего по возрасту, горели уши. Алькальд легонько подтолкнул их к выходу.

— Ну ладно, ладно, только не забудьте, — сказал он им, — в шесть вечера — в казарме как штык.

Дон Роке по-прежнему все стоял за стойкой.

— Из-за этой петрушки, — сказал он, — придется, наверное, заняться контрабандой.

— Это на два-три дня, — объяснил алькальд.

Владелец кинотеатра догнал алькальда на углу.

— Вот этого мне только и не хватало, — закричал он. — После колокольных запретов начались комендантские.

Алькальд легонько похлопал его по спине и попытался пройти мимо.

— Я вас экспроприрую, — сказал он.

— Не имеете права, — возразил тот. — Кино не принадлежит государству.

— При чрезвычайном положении, — сказал алькальд, — даже кино можно объявить собственностью государства.

Улыбка исчезла с его лица. Перепрыгивая через две ступеньки, алькальд взлетел по лестнице на второй этаж полицейских казарм и там, широко разведя руками, снова рассмеялся.

— Ничего себе! — воскликнул он. — Вы?

В небрежной позе восточного монарха в раскладном кресле полулежал хозяин цирка. В задумчивости он курил свою трубку — трубку морского волка. Знаком предложил алькальду сесть, словно находился в собственном доме:

— Поговорим, лейтенант, о делах.

Алькальд подвинул стул и сел. Держа трубку в руке, пальцы которой были унижены драгоценными камнями, хозяин цирка сделал загадочный знак:

— Могу я говорить со всей откровенностью?

Алькальд кивнул.

— Я это понял сразу, еще тогда, в первый раз, когда вы брились, — сказал хозяин цирка. — Ну так вот, я привык общаться с людьми, разбираюсь в них и знаю, что этот комендантский час для вас...

Алькальд рассматривал его с явным намерением поразвлечься.

— ...ну а для меня — я ведь уже потратился на монтаж шатра и, кроме того, должен кормить семнадцать человек и девять зверей — этот комендантский час — просто катастрофа.

— И что из этого?

— Я предлагаю вам, — ответил хозяин цирка, — перенести комендантский час на одиннадцать, а полученные за вечернее представление деньги разделить между нами.

Не шелохнувшись, алькальд по-прежнему улыбался.

— Я могу предположить, — сказал он, — что вам не составило труда встретиться в этом городке с кем-либо, кто сказал вам, что я — хапуга.

— Это законный бизнес, — запротестовал хозяин цирка.

Он не заметил, как лицо алькальда помрачнело.

— Поговорим в понедельник, — неопределенно сказал лейтенант.

— В понедельник мне придется заложить в ломбард свою голову, — возразил хозяин цирка. — Мы очень ограничены в средствах.

Алькальд проводил его до лестницы и, легонько похлопав по спине, сказал:

— Не рассказывайте мне сказки. Я знаю, как делаются дела. — И уже около самой лестницы, пытаясь как-то сгладить впечатление от разговора, сменив тон, попросил: — Пришлите мне сегодня вечером Кассандру.

Хозяин цирка попытался обернуться, но рука решительно подталкивала его к выходу.

— Разумеется, — сказал он, — это само собой.

— Пришлите ее ко мне сегодня, — настаивал алькальд, — а завтра

поговорим.

* * *

Кончиками пальцев сеньор Бенхамин толкнул затянутую металлической сеткой дверь, но в дом не вошел, а, сдерживая раздражение, крикнул:

— Нора, окна.

Нора Хакоб, тучная, среднего возраста женщина с подстриженными по-мужски волосами, лежала возле электрического вентилятора в полумраке гостиной. Она ждала сеньора Бенхамина обедать. И когда сеньор Бенхамин окликнул ее, с трудом встала и распахнула все четыре окна, выходящие на улицу. Струя раскаленного воздуха ворвалась в гостиную, облицованную плитками, на которых бесконечное число раз повторялся рисунок угловатого королевского дворца. Мебель в комнате была обита цветастой тканью. Некогда богатый дом ветшал на глазах.

— Ну, о чем говорят люди?

— О чем только не говорят!

— Я имею в виду вдову Монтьель, — уточнила Нора Хакоб, — говорят, что она сошла с ума.

— По мне, так она уже давно не в своем уме, — сказал сеньор Бенхамин. И с каким-то разочарованием добавил: — Впрочем, так оно и есть: сегодня утром она пыталась выкинуться с балкона.

На обоих концах стола, хорошо видного с улицы, стояло по прибору.

— Кара Господня, — сказала Нора и хлопнула в ладоши, чтобы подавали обед. Вентилятор она принесла с собой в столовую.

— С утра в дом набилось уйма народу, — сказал сеньор Бенхамин.

— Удобный случай побывать внутри и все хорошенько разглядеть, — отозвалась Нора Хакоб.

Чернокожая девочка с головой, усыпанной разноцветными бантиками, подала на стол обжигающе горячий суп.

Столовую захлестнул душный запах вареной курятины, и жара стала совсем невыносимой. Приладив салфетку к воротнику, сеньор Бенхамин сказал: «Приятного аппетита». И, недолго раздумывая, принялся было сразу же есть суп.

— Не торопись, подуй сначала, — раздраженно одернула Нора его. — Иними ты пиджак. Кстати, твой пунктик, чтобы окна были открыты, нам когда-нибудь дороге обойдется: однажды мы задохнемся от жары.

— Придется потерпеть, особенно сейчас, — сказал он. — Чтобы никто не мог сказать, что не видел, чем я занимался в твоём доме.

В ослепительной улыбке — демонстрирующей совершенство зубоврачебного мастерства — она обнажила свои цвета сургуча десны.

— Не смеши людей, — воскликнула она. — По мне, так пусть говорят все что им вздумается.

Прихлебывая суп, делая паузы, она говорила:

— Меня бы беспокоили только пересуды о Монике. — Нора имела в виду свою пятнадцатилетнюю дочь, которая с тех пор, как стала учиться в колледже, не приезжала домой на каникулы. — Но обо мне самой все и так знают уже все.

Сеньор Бенхамин не окинул ее, как обычно, неодобрительным взглядом. Они сидели и молча ели суп, разделенные двухметровым пространством стола: только такое наименьшее расстояние мог сеньор Бенхамин позволить себе в доме Норы; двадцать лет тому назад, когда она училась в колледже, он писал ей пространные, вежливо-сдержанные письма, а она отвечала короткими, страстными записками. Как-то на каникулах, во время прогулки в окрестностях городка, пьяный Нестор Хакоб, схватив ее за волосы, затащил на какой-то скотный двор и, не оставляя ей времени на раздумья, решительно выпалил: «Если не выйдешь за меня — пристрелю». В конце каникул они поженились, а десять лет спустя — разошлись.

— Как бы то ни было, — сказал сеньор Бенхамин, — не следует закрытыми окнами распалать людское воображение.

Выпив кофе, он сразу же встал.

— Мне пора, — заявил он. — А то Мина, наверное, уже беспокоится. — А в дверях, надевая шляпу, воскликнул. — У тебя не дом, а сковородка.

— О чем я тебе и толкую, — отозвалась она.

Глядя в окно, она подождала, пока он, словно благословляя ее, не помахал на прощание рукой. Затем унесла вентилятор в спальню, закрыла окна и двери и разделась донага. Потом, как и всегда после обеда, пошла в туалет и, усевшись там на унитазе, погрузилась в свои мысли, которыми ни с кем не делилась.

Четыре раза на дню она видела, как мимо ее дома проходил Нестор Хакоб. Все знали: он сошелся с другой женщиной, прижил с ней четверых детей и считается прямо-таки образцовым отцом семейства. Несколько раз он проходил мимо ее дома с детьми, но ни разу — с той женщиной. Она видела, как он худел, старел, и в конце концов он превратился в

совершенно чужого ей человека, и теперь Норе казалось невероятным, что когда-то он спал с ней. Иногда, в одинокие часы сиесты, в ней вдруг просыпалось острое, мучительное желание его, но Нора желала его не таким, каким он проходил мимо ее дома, а таким, каким она его помнила до рождения Моники, когда его короткая и пресная любовь еще не стала мукой.

* * *

Судья Аркадио проспал до самого полудня. И поэтому узнал об указе только тогда, когда пришел в суд. Зато его секретарь не находил себе места с восьми утра — с той минуты, когда алькальд распорядился составить текст указа.

— Что ни говорите, — задумчиво сказал судья Аркадио, узнав все подробности, — указ сформулирован не слишком удачно. А никакой необходимости в резких формулах не было.

— Текст такой, как всегда.

— Да, такой, как всегда, — согласился судья. — Но времена-то изменились, и формулировки следовало бы изменить тоже. Люди в городе, должно быть, напуганы.

Однако, как ему удалось убедиться позже, играя в бильярдной в карты, городом не завладело чувство страха. Правильнее было бы сказать: царил дух торжества; люди увидели воочию — подтвердилось то, что они ощущали в душе: все осталось по-прежнему. Выходя из бильярдной, судья столкнулся лицом к лицу с алькальдом.

— Тут не в анонимках дело, — сказал он. — Люди даже обрадовались указу.

Алькальд взял его под руку.

— Ничего не делается народу во вред, — сказал он. — А комендантский час — это обычное для них дело.

Беседы на ходу приводили судью Аркадио в отчаяние. Алькальд ходил целеустремленно. Но, изрядно прошагав, словно шел по неотложному делу, он вдруг спохватывался, что спешить ему в общем-то некуда.

— Это ведь не на всю жизнь, — продолжал он. — К воскресенью весельчак анонимщик будет пойман. Не знаю почему, но мне кажется, это женщина.

Судья Аркадио мнение алькальда не разделял. Даже беглый просмотр собранной секретарем информации привел его к выводу: анонимки пишет

не один человек. И не похоже, что действуют эти люди по заранее продуманному плану. А в последние дни появилась новая разновидность — рисунки.

— Может быть, это дело рук не одного мужчины и не одной женщины, — подытожил судья Аркадио, — а разных мужчин и женщин, и действуют они независимо друг от друга.

— Не усложняйте мне жизнь, судья, — одернул его алькальд. — Вы-то должны знать: в любом деле, даже если в нем участвуют несколько человек, всегда найдется хоть один виноватый.

— Это сказал еще Аристотель, лейтенант, — заметил судья Аркадио. И убежденно добавил: — Так или иначе, мне эта мера кажется бессмысленной. Просто те, кто их клеит, подождут, пока не отменят комендантский час.

— Это не имеет значения, — сказал алькальд, — в конце концов, нужно защитить сам принцип власти.

К казарме начали подходить призывники. Маленький двор, окруженный высокими бетонными стенами со следами засохшей крови и щербинами от пуль, еще помнил, видимо, те времена, когда камер для узников не хватало и их держали под открытым небом. В этот день невооруженные полицейские бродили по коридорам казарм в одних трусах.

— Ровира, — позвал алькальд с порога. — Принеси этим ребятам что-нибудь попить.

Полицейский начал одеваться.

— Рому? — спросил он.

— Не строй из себя идиота, — заорал алькальд, направляясь в бронированный кабинет. — Что-нибудь прохладительное.

Призывники сидели во дворе вдоль стены и курили. Судья Аркадио, перегнувшись через перила, смотрел на них со второго этажа.

— Это добровольцы?

— Если бы! — воскликнул алькальд. — Пришлось выволакивать из-под кроватей, как будто я пришел их арестовывать.

Среди призывников судья не обнаружил ни одного незнакомого лица.

— Их отбирали словно по конкурсу, — сказал он.

Когда открылась тяжелая стальная дверь кабинета, в коридор хлынули клубы стылого воздуха.

— Вы хотите сказать, что они готовы к бою, — с улыбкой, зажигая свет в своей личной крепости, отозвался алькальд.

В одном углу комнаты стояла походная кровать, на стуле — стеклянный кувшин со стаканом, а под кроватью виднелся ночной горшок.

Вдоль стены стояли винтовки и ручные пулеметы. Воздух в помещение поступал через узкие высокие, похожие на бойницы окна, — через них хорошо просматривались пристань и обе основные улицы городка. В другом углу кабинета рядом с сейфом стоял письменный стол.

Алькальд набрал на сейфе код.

— Это фигня, — сказал он, — я им всем выдам винтовки.

Вслед за ними в кабинет вошел полицейский. Алькальд протянул ему несколько банкнот:

— Возьми на каждого еще по две пачки сигарет.

Когда они снова остались одни, обратился к судье Аркадио:

— Как вам все это нравится?

Судья задумчиво ответил:

— Рискованно.

— У них челюсть отвиснет от удивления, — сказал алькальд. — И кроме того, мне кажется, эти несчастные пацаны в толк не возьмут, с чем им эти винтовки есть.

— Может быть, они немного растеряны, — допустил судья, — но это у них скоро пройдет.

Судья ощутил пустоту в животе и только с большим усилием сумел подавить в себе чувство страха.

— Будьте осторожны, лейтенант, — как бы про себя сказал он. — Не завалите дело.

Алькальд с загадочным видом потащил судью из кабинета прочь.

— Не дрейфьте, судья, — выдохнул он ему в ухо. — Патроны-то у них будут только холостые.

Когда они спустились во двор, освещение было уже включено. Под грязными электрическими лампочками, вокруг которых клубилась мошкара, призывники пили лимонад, прохаживались из конца в конец по двору, где после дождя еще не высохло несколько луж, а алькальд отеческим тоном втолковывал им, какое задание предстоит выполнить в эту ночь: их выставят попарно на перекрестках главных улиц и они имеют право открыть огонь по любому человеку — будь то женщина или мужчина, — если он после троекратного требования не остановился. Алькальд призвал их к смелости, стойкости и осторожности. После полуночи их покормят. Выразил надежду, что с Божьей помощью все пройдет без эксцессов, а население городка сможет достойно оценить эти усилия властей, направленные на поддержание мира и порядка.

Падре Анхель поднялся из-за стола, когда часы на башне начали отбивать восемь. Он выключил свет во дворе, запер дверь на засов и осенил требник крестным знаменем: «Во имя Господа Бога». Где-то далеко, в чьем-то дворе, прокричала выпь. Задремавшая в прохладе коридора, рядом с клетками, прикрытыми темными тряпками, вдова Асис услышала второй удар часов и, не открывая глаз, спросила: «Роберто уже приехал?» Сидевшая у двери на корточках служанка ответила, что он лег спать еще в семь. Чуть раньше Нора Хакоб приглушила звук радиоприемника, и теперь ее вниманием завладела нежная музыка, долетавшая, казалось, из чистого и уютного места. Чей-то голос, настолько далекий, что мнился совсем призрачным, выкрикнул, казалось у самого горизонта, какое-то имя; словно в ответ, собаки подняли лай.

Зубной врач так и не дослушал последних известий. Вспомнив, что Анхела при свете лампочки разгадывает во дворе кроссворд, он, не выходя во двор, крикнул: «Иди в дом и закрой дверь!» От его крика жена испуганно проснулась.

Роберто Асис и вправду отправился спать в семь. Но сейчас он поднялся и посмотрел через полуоткрытое окно на площадь: увидел лишь темные силуэты миндальных деревьев и погасший в то же мгновение свет на балконе вдовы Монтель. Его жена зажгла ночник и шелестящим шепотом уговорила его лечь снова. Еще и после пятого удара доносился одинокий лай какой-то собаки, но вскоре стих и он.

В жаркой кладовке, заставленной пустыми жестянками, банками и пыльными флаконами, храпел аптекарь Лало Москоте, уронив развернутую газету на живот и забыв снять очки, которые теперь сдвинулись на лоб. Его полупарализованная жена, содрогаясь от кошмаров этой ночи, похожей на другие, отгоняла тряпкой москитов и мысленно считала удары часов. Еще некоторое время раздавались далекие крики, доносился лай собак и слышалась какая-то непонятная беготня; затем наступила глубокая тишина.

— Не забудь положить корамин, — говорил доктор Хиральдо жене, укладывавшей в его чемоданчик, прежде чем лечь, самые важные лекарства.

Они подумали о вдове Монтель; та, приняв люминал, спала, и ее негнущееся тело казалось мертвым. Только дон Сабас, имевший продолжительный разговор с сеньором Кармайклом, утратил ощущение времени. Он еще был в конторе, где скрупулезно, взвешивая их, дозировал

продукты на завтрак, когда прозвучал седьмой удар и из спальни вышла растрепанная жена. Течение реки, казалось, остановилось. «Вот в такую, как эта, ночь...» — пробормотал кто-то в темноте; и тут пробил восьмой удар — глубокий и окончательный, как приговор, и что-то, вспыхнувшее на четверть минуты, угасло совсем.

Доктор Хиральдо подождал, пока не отзвучал горн, возвещающий начало комендантского часа, и захлопнул книгу. Поставив чемоданчик на ночной столик, жена легла в кровать, повернулась к стене и выключила со своей стороны лампу. Врач открыл книгу вновь, но читать не стал. Дыхание врача и его жены было спокойным, но чувствовали они себя всегда одинокими в этом городе, которому, казалось, удалось всю гнетущую свинцовую тишину втиснуть в пространство их спальни.

— О чем ты думаешь?

— Ни о чем, — ответил врач.

Лишь в одиннадцать он вернулся к той же самой странице, которую читал, когда пробило восемь: раньше сосредоточиться так и не смог. Загнув угол листа, он положил книгу на столик. Жена спала. В прежние времена, стараясь понять, где стреляют и из-за чего, они, бывало, не спали всю ночь до самого рассвета. Несколько раз стук солдатских ботинок и лязганье оружия раздавались у самой двери их дома; они сидели на кровати и ждали свинцового шквала, который, обрушившись, разнесет их дверь в щепы. Много ночей, испытав на собственной шкуре все виды страха, они провели без сна на подушках, набитых листовками. Однажды ранним утром они уловили у дверей едва слышные шорохи, — кто-то готовился взломать дверь, но потом раздался усталый голос алькальда: «Не стоит. Этот ни во что уже не вмещивается». Доктор Хиральдо потушил лампу и попытался уснуть.

* * *

После девяти вечера начался морозящий дождь. Поставленные при входе на пристань парикмахер и еще один призывник оставили свой пост и укрылись под козырьком лавки сеньора Бенхамина. Парикмахер закурил сигарету и при свете спички осмотрел винтовку. Она была совершенно новая.

— Made in USA, — прочитал он.

Отыскивая клеймо на своем карабине, его напарник сжег несколько спичек, но так и не смог его найти. Крупная капля, сорвавшаяся с козырька

крыши, с глухим стуком расплющилась о приклад оружия.

— Ну не скотство ли все это? — пробормотал он, вытирая приклад рукавом. — Торчат здесь с этими винтовками, мокнуть под дождем.

Из темного, с потушенными окнами городка не доносилось ни звука; раздавалась лишь четкая дробь капающей с крыши воды.

— Нас девятеро, — сказал парикмахер. — А их — семеро, считая и алькальда, и трое из них сейчас в казарме.

— Я тоже думаю об этом же самом, — ответил его напарник.

Яркий луч фонарика осветил парикмахера и его товарища: они сидели у стены на корточках, стараясь защитить оружие от капель, что звонкой дробью отскакивали от их ботинок. Алькальда они узнали сразу же, как только он потушил фонарик и подошел к ним под навес. На нем был полевой плащ, а за спиной на ремне — ручной пулемет. С ним был еще один полицейский. Посмотрев на часы — алькальд их носил на правой руке, — он приказал полицейскому:

— Идите в казарму и выясните, почему не несут еду.

Таким же решительным тоном он, вероятно, отдал бы и приказ стрелять. Полицейский исчез за завесой дождя. А алькальд присел рядом с призывниками.

— Есть что-нибудь новенькое? — спросил он.

— Ничего, — ответил парикмахер.

Его напарник, прежде чем закурить, предложил сигарету алькальду, но тот отказался.

— И долго вы нас будете мурыжить, лейтенант?

— Не знаю, — ответил алькальд. — Сегодня — до окончания комендантского часа. А завтра посмотрим.

— До пяти утра! — воскликнул парикмахер.

— Ничего себе заявки, — сказал его напарник. — Я с четырех утра на ногах.

Сквозь завесу дождя до них долетел шум собачьей драки. Алькальд подождал, пока не стихнет визг и возня, и, только когда послышался лишь одинокий лай, повернулся к призывнику и мрачно сказал:

— Вы меня учить будете?! Я уже полжизни тяну эту лямку. И сам сейчас валюсь с ног от усталости.

— И ради чего? — сказал парикмахер. — Ведь все это — как рыбке зонтик. Рассчитано прямо на дамочек каких-то.

— Я начинаю все больше и больше склоняться к такому же мнению, — вздохнул алькальд.

Из казармы прибыл полицейский и сообщил, что еду не несут потому,

что ждут, когда кончится дождь. Затем сказал алькальд: в казарме его ждет женщина, задержанная без пропуска.

Это была Кассандра; она спала в небольшой комнатушке, освещаемой лишь слабой балконной лампочкой, в раскладном кресле, укрытая клеенчатым плащом. Алькальд схватил ее двумя пальцами за нос. Женщина жалобно застонала и, отчаянно дернувшись, открыла глаза.

— О, мне приснилось что-то, — сказала она.

Алькальд зажег в комнате свет. Прикрыв глаза руками, женщина изогнулась, словно ей причиняли боль, и, когда его взгляд скользнул по ее серебристым ногтям и бритым подмышкам, у алькальда екнуло сердце.

— Ну и нахал же ты, — сказала она. — Я здесь с одиннадцати.

— Я думал, что ты придешь прямо ко мне домой, — попытался оправдаться алькальд.

— У меня не было пропуска.

Две ночи тому назад волосы у нее были медного цвета, а сейчас — серебристо-серого.

— Я об этом и не подумал, — улыбнулся алькальд и, повесив плащ, уселся в кресло рядом с ней. — Надеюсь, они не решили, что это ты клеишь анонимки.

К женщине возвратилась ее непринужденная манера поведения.

— А жаль, — сострила она. — Жуть как люблю острые ощущения.

Вдруг алькальд как-то сжался, словно он заблудился в этой комнате; на его лице появилась какая-то беззащитность, и, похрустывая суставами пальцев, он пробормотал:

— Мне нужно, чтобы ты мне оказала одну услугу.

Она изучающе взглянула на алькальда.

— Только пусть это останется между нами, — продолжал тот, — я хочу, чтобы ты погадала на картах, кто занимается этой мерзостью.

Она отвернулась.

— Понятно, — сказала она после короткого молчания.

Алькальд попытался ее вдохновить:

— Ведь прежде всего я стараюсь ради вас.

Она кивнула.

— Но я уже гадала, — сказала она.

Алькальд не мог сдержать своего нетерпения.

— Уж очень все странно выпадает, — продолжила Кассандра, расчетливо разыгрывая мелодраму. — Карты столь очевидно показывают, что когда я увидела — вся обмерла от страха.

Даже дыхание ее стало притворно взволнованным.

— Кто же это?

— Все — и никто.

VIII

В воскресенье сыновья вдовы Асис приехали на мессу. Кроме Роберто, их было семеро. Все они словно были отлиты в одной форме — крупные, неповоротливые, и было что-то воловье в их стремлении к тяжелой работе. Мать для них являлась непререкаемым авторитетом: ее слушались и слепо ей повиновались во всем. Из братьев только младший — Роберто Асис — был женат, и лишь нос с горбинкой выдавал его родство с братьями. Слабый здоровьем, с мягкими светскими манерами, он был словно утешением для матери, так и не родившей ни одной дочери.

Вдова ходила по кухне, где семеро Асисов сгружали привезенное, среди связанных кудахтающих кур, гор овощей, головок сыров, темных плоских хлебов и засоленных окороков, давала указания служанкам. Когда на кухне все убрали по местам, она велела выбрать самое лучшее для падре Анхеля.

Священник брился. Время от времени высовывал в окно руку и смачивал подбородок дождевой водой. Падре уже заканчивал бритье, когда две босоногие девочки, не стучась, толкнули дверь и вывалили перед ним груды ананасов, янтарные гроздья бананов, несколько хлебов, сыр и корзину с овощами и свежими яйцами.

Падре Анхель весело подмигнул девочкам.

— Ну прямо скатерть-самобранка, — сказал он.

Девочка помладше, вытаращив глаза, показала на него пальцем:

— Падре тоже бреются!

Другая девочка потащила ее к двери.

— А ты что думала? — с улыбкой спросил священник, а затем серьезно добавил: — Мы тоже люди.

Потом, глянув на лежащую на полу снедь, подумал: только дом Асисов способен на такую щедрость.

— Передайте Асисам, — громко, почти прокричав, сказал падре, — Бог да воздаст им здоровьем.

За сорок лет падре Анхель так и не научился справляться с волнением, охватывавшим его всегда перед торжественными службами. Не выбрившись как следует, он убрал бритвенные принадлежности. Потом собрал принесенные съестные припасы и сложил их под полками, где стояла глиняная посуда; вытирая руки о сутану, вошел в ризницу.

В церкви было полно народу. Братья Асисы с матерью и невесткой

сидели на двух ближайших к амвону, некогда подаренных ими же скамьях, с медными пластинками, на которых были выгравированы их фамилии. Сейчас, когда впервые за последние месяцы братья все вместе вошли в храм казалось, что они въехали на лошадях. Приехавший прямо с пастбища за полчаса до начала службы и не успевший побриться, Кристобаль, самый старший из братьев, был в сапогах со шпорами. Глядя на этого могучего исполина, каждый в городке, наверное, припоминал слухи о том, что Сесар Монтеро был внебрачным сыном старого Адальберто Асиса.

В ризнице падре Анхель испытал настоящее потрясение: литургических облачений на месте не оказалось. Когда служка вошел, падре, бурча себе под нос что-то нечленораздельное, растерянно ворошил содержимое ящиков.

— Позови Тринидад, — велел ему падре, — и спроси у нее, куда она положила епитрахиль.

Служка напомнил падре, что тот, по-видимому, забыл: Тринидад еще с субботы заболела и, наверное, кое-какую одежду унесла с собой, чтобы починить. Тогда падре Анхель надел облачения, припасенные для погребальной службы. Но сосредоточиться ему так и не удалось. Когда, еще не успокоившись и не отдышавшись, падре поднялся на амвон, он понял, что созревшие в предыдущие дни доводы не прозвучат сейчас здесь с той же силой убеждения, как в уединенном одиночестве его комнаты.

Падре говорил минут десять. Застигнутый врасплох беспорядочным натиском новых мыслей, выходявших за рамки заранее подготовленной речи, он спотыкался на каждом слове; и тут падре взглянул на вдову Асис и ее сыновей. Выглядели они так, словно были изображены на старой-престарой семейной фотографии. Только обмахивавшая сандаловым веером свою великолепную грудь Ребека Асис казалась реальной и живой. Падре Анхель закончил проповедь, так и не сказав об анонимках.

Какое-то время, пока шла служба, вдова Асис сидела не двигаясь, лишь со скрытым раздражением надевая и снимая с пальца обручальное кольцо. Затем перекрестилась, встала со скамьи и вышла из храма через главные ворота; беспорядочной толпой сыновья проследовали за ней.

* * *

Однажды в такое же, как это, утро доктор Хиральдо понял внутренние причины самоубийства. Шел бесшумный морозящий дождь, в соседнем доме пел трупял^[17], врач чистил зубы, а жена говорила, рта не закрывая.

— Воскресенья такие странные, — сказала она, накрывая стол для завтрака. — Словно их разделали и развесили: пахнут свежаванным мясом.

Врач взял безопасную бритву и начал бриться. Глаза у него были влажные, а веки — опухшие.

— Ты плохо спишь, — сказала ему жена. И мягко, но с горечью добавила: — Однажды утром, вот в такое же воскресенье, вдруг увидишь: состарился. — На ней был полосатый халат, а на голове топорщились бигуди.

— Сделай одолжение, — попросил он, — помолчи.

Она пошла на кухню, поставила кофейник на огонь и стала ждать, пока вода не закипит. Сначала она прислушивалась к пению трупяла, потом услышала шум воды в ванной. Тогда она пошла в комнату — приготовить одежду, чтобы муж мог сразу после душа одеться. Когда подала завтрак, врач был уже одет, — в брюках цвета хаки и спортивной рубашке он показался ей сейчас помолодевшим.

Они позавтракали в молчании. Под конец он мягко взглянул на жену. Наклонив низко голову, она пила кофе, из-за недавней обиды у нее слегка дрожали руки.

— Это все из-за печени, — стал он оправдываться.

— Несдержанности нет никаких оправданий, — возразила она, не поднимая головы.

— Видимо, у меня интоксикация, — сказал он. — В дождь печень работает хуже некуда.

— Ты всегда ссылаешься на печень, — уточнила она, — а сам пальцем о палец не ударишь, чтобы вылечить ее. Кончится тем, — добавила она, — что сам себя признаешь безнадежным больным.

Видимо, она его убедила.

— В декабре, — сказал он, — две недели проведем на море.

Через ромбы деревянной решетки, отделявшей столовую от патио, томившегося, казалось, от назойливой настойчивости октября, он посмотрел на морозящий дождь и добавил:

— Тогда, по крайней мере на четыре месяца, мы будем избавлены от таких, как сегодня, воскресений.

Она сложила тарелки и унесла их в кухню. Вернувшись в столовую, она застала мужа уже в плетеной пальмовой шляпе, — он укладывал лекарства в чемоданчик.

— Так, значит, вдова Асис снова ушла из церкви во время мессы? — сказал он.

Жена ему об этом уже рассказывала — еще до того, как он стал

чистить зубы, — но тогда он оставил это без внимания.

— За этот год — уже три раза, — подтвердила она. — Видимо, лучшего развлечения найти не может.

Врач обнажил ряд своих безупречных зубов:

— Просто эти богачи с жиру бесятся.

Возвращаясь из церкви, несколько женщин зашли к вдове Монтъель. Они были в гостинной, врач, войдя в дом, поприветствовал их. Затем сразу же пошел в спальню вдовы, негромкий смех гостей преследовал его до самой лестничной площадки. Постучав, он догадался, что и в спальне находятся женщины: чей-то голос пригласил его войти.

С распущенными волосами, прижимая к груди край простыни, вдова Монтъель сидела на кровати. На коленях у нее лежали зеркало и роговая расческа.

— Так, значит, и вы тоже решили поучаствовать в празднике? — обратился к ней врач.

— Она празднует свои пятнадцать лет, — сказала одна из женщин.

— Восемнадцать, — с грустной улыбкой поправила вдова Монтъель. Она легла, укрывшись простыней до подбородка, и шутливо добавила: — Разумеется, среди приглашенных мужчин нет. Это и вас касается, доктор, у вас ведь дурной глаз.

Врач положил мокрую шляпу на комод.

— Ну и правильно, — сказал он, глядя на больную взглядом веселым и озабоченным. — Но слишком поздно меня осенило, что мне нечего здесь делать. — Затем, обратившись к женщинам, спросил: — Вы разрешите?

Они остались вдвоем; лицо вдовы Монтъель вновь обрело характерное для больных горестное выражение. Но доктор, казалось, этого не заметил. Извлекая из чемоданчика шприц и медикаменты и расставляя их на ночном столике, он продолжал шутить.

— Пожалуйста, доктор, — взмолилась вдова, — больше не нужно уколов. На мне места живого нет.

— Уколы, — улыбнулся врач, — это гениальное изобретение для прокорма медиков.

Она тоже улыбнулась.

— Ну поверьте же мне, — сказала она, ощупывая ягодицы через простыню, — у меня здесь все в синяках — нельзя даже дотронуться.

— А вы и не дотрагивайтесь, — сказал врач.

Тут она улыбнулась совсем раскованно:

— Доктор, вы хоть по воскресеньям будьте серьезны.

Доктор взял ее руку и стал измерять давление.

— Это мне врачами противопоказано, — сказал он, — вредно для печени.

Пока доктор измерял давление, вдова с детским любопытством смотрела на круглый циферблат тонометра.

— Это самые странные часы, какие я видела за всю свою жизнь, — сказала она.

Врач, пока не перестал сжимать грушу, не отводил глаз от прибора.

— Это единственные в мире часы, точно показывающие время, когда нужно подниматься, — объяснил он.

Уже сворачивая трубки тонометра, он внимательно поглядел в лицо больной. Поставив на столик флакон с белыми таблетками, сказал, чтобы она принимала одну таблетку через каждые двенадцать часов.

— Не хотите уколов, — сказал он, — и не надо. У вас здоровье — лучше моего.

Вдова Монтъель с легкой досадой передернула плечами.

— Я никогда ничем не болела, — сказала она.

— Охотно верю, — отозвался врач, — но ведь мне нужно было что-то придумать, чтобы вы оплатили мой визит?

Уйдя от ответа, вдова спросила:

— У меня по-прежнему постельный режим?

— Наоборот, — сказал врач, — я вам это категорически запрещаю. Идите в гостиную; как положено, принимайте гостей. Ведь, — колко добавил он, — вам есть о чем посудачить.

— Ради Бога, доктор, — воскликнула она, — не будьте такой язвой. Это вы, наверное, клеите анонимки!

В ответ на ее остроту доктор Хиральдо рассмеялся. Выходя, он бросил взгляд на кожаный, с медными заклепками сундук, собранный к отъезду и стоявший в углу спальни.

— И привезите мне что-нибудь, — крикнул он уже с порога, — когда вернетесь из своего кругосветного путешествия.

Вдова вновь занялась делом, требовавшим много терпения: приведением в порядок спутанных волос:

— Ну конечно, доктор.

В гостиную она не спустилась, а осталась лежать в кровати, пока не ушла последняя гостья. Тогда она оделась. А когда вошел сеньор Кармайкл, вдова уже завтракала у приоткрытого балкона.

Не отводя глаз от дома напротив, она ответила на приветствие.

— В глубине души, — сказала она, — к этой женщине я отношусь с симпатией: она — смелая.

Сеньор Кармайкл тоже посмотрел на дом вдовы Асис: хотя было уже одиннадцать, окна и двери по-прежнему оставались закрытыми.

— Такая у нее натура, — ответил он. — Уж если Бог повелел ей рожать одних мужчин, она не может быть другой. — И, уже обращаясь к вдове Монтель, добавил: — А вы цветете, как роза.

Она, казалось, хотела подтвердить это свежестью своей улыбки.

— Знаете что? — спросила она. И сказала, не дожидаясь ответа сеньора Кармайкла: — Доктор Хиральдо убежден, что я не в своем уме.

— Да что вы говорите?!

Вдова утвердительно кивнула головой.

— Я не удивлюсь, — продолжила она, — если узнаю, что он уже переговорил с вами, как упрятать меня в сумасшедший дом.

Сеньор Кармайкл не знал, как ему выпутаться из этого щекотливого положения.

— Сегодня утром я еще никуда не выходил, — сказал он.

И сел в мягкое кожаное кресло, стоящее у кровати. Вдова вспомнила: за пятнадцать минут до своей смерти от инсульта в этом кресле сидел Хосе Монтель.

— В таком случае, — сказала она, стряхивая с себя тягостное воспоминание, — он, наверное, обратится к вам после обеда. — И, сменив тему разговора, с ясной улыбкой спросила: — Вы говорили с моим кумом, доном Сабасом?

Сеньор Кармайкл утвердительно кивнул.

Но на самом деле в пятницу и субботу он лишь зондировал почву, пытаясь выяснить у дона Сабаса, как тот будет реагировать на возможную продажу наследства Хосе Монтеля. По предположению сеньора Кармайкла, дон Сабас, кажется, готов купить все.

Вдова слушала его, не выказывая никаких признаков нетерпения. Если не на этой неделе в среду, то в следующую среду она уедет — приняла она решение со спокойной уверенностью. Как бы то ни было, она была намерена уехать из городка до конца октября.

* * *

С быстротой молнии левой рукой алькальд выхватил револьвер из кобуры, напрягся до последнего мускула, еще мгновение — и он бы выстрелил; но тут он проснулся окончательно и узнал судью Аркадио.

— Мудило!

Судья Аркадио остолбенел от неожиданности.

— Никогда больше не выкидывайте таких фортелей, — сказал алькальд, заталкивая револьвер назад в кобуру. И снова рухнул в раскладное кресло. — Когда сплю, слух у меня острее, чем у зверя.

— Дверь была открыта, — стал оправдываться судья Аркадио.

Вернувшись на рассвете, алькальд забыл закрыть ее, просто от усталости уже не держали ноги, — он упал в кресло и мгновенно уснул.

— Который час?

— Скоро двенадцать, — ответил судья Аркадио.

Голос его еще дрожал.

— До смерти хочу спать, — сказал алькальд.

Потянувшись вслед за долгим зевком, алькальд вдруг подумал, что время остановило свой бег. Несмотря на все усилия и проведенные без сна ночи, анонимки не исчезли. Сегодня рано утром он обнаружил приклеенный на двери своей комнаты клочок бумаги: «Не стреляйте из пушек по воробьям, лейтенант!» На улицах во всеуслышание заявляли: мол, сами патрульные, развлекаясь от скуки во время дежурства, клеят эти анонимки. «Весь городок, — думал алькальд, — сейчас надрывает животики со смеху».

— Встряхнитесь, — сказал судья Аркадио, — и пойдемте что-нибудь перекусим.

Но алькальду есть не хотелось. Ему хотелось еще хоть часок поспать и потом как следует вымыться. А хорошо выспавшийся, чистенький судья Аркадио уже возвращался домой на обед. И вот, проходя мимо дома алькальда и заметив, что дверь открыта, он решил к нему зайти и попросить пропуск — чтобы можно было свободно ходить по городку после комендантского часа.

Лейтенант ответил просто: «Нет». Но потом отеческим тоном объяснил:

— Вам же самому спокойнее будет, если посидите дома.

Судья Аркадио прикурил сигарету. Некоторое время, глядя на пламя спички, подождал, пока не уляжется обида, но так и не нашелся что ответить.

— Не расстраивайтесь, — добавил алькальд. — Поверьте, мне хотелось бы быть на вашем месте: лечь в восемь вечера и встать, когда захочется.

— Охотно верю, — ответил судья. А потом с нескрываемой иронией добавил: — Единственное, чего мне не хватало, так это нового папочки в тридцать пять лет.

Повернувшись к алькальду спиной, судья, казалось, разглядывал затянутое дождевыми тучами небо. Алькальд сурово молчал. Потом отрывисто выкрикнул:

— Судья! — Тот повернулся к нему, и глаза их встретились. — Пропуска я вам не дам. Понятно?

Судья закурил сигарету и хотел было что-то сказать, но сдержался. Алькальд слышал, как судья Аркадио медленно спускается по лестнице. Тут он, перегнувшись через перила, позвал:

— Судья!

Ответа не было.

— Мы остаемся друзьями, — крикнул алькальд.

И на этот раз ответа не последовало.

Некоторое время, озабоченный реакцией судьи, алькальд так и простоял, склонившись над перилами, но потом закрыл дверь и снова остался наедине со своими воспоминаниями. Он не пытался уже уснуть. В разгар дня сна как и не бывало, и тут алькальду показалось, что он, словно в болоте, увяз, в этом городе, по-прежнему замкнутом и чужом, как и много лет тому назад, когда взял на себя ответственность за его судьбу. В то раннее утро, инкогнито выйдя на берег со старым, перевязанным бечевками картонным чемоданом и с приказом любой ценой подчинить себе город, он испытал чувство страха. Его единственной палочкой-выручалочкой тогда было письмо к какому-то стороннику правительства: он должен был его найти на следующий день сидящим в трусах у дверей рисовой сушилки. Благодаря наводкам этого человека и беспощадности трех прибывших вместе с ним наемных убийц задача была выполнена. Но в этот вечер — хотя он и не осознавал себя пленником невидимой паутины, сотканной временем, — алькальду достаточно было бы мгновенной вспышки озарения, чтобы задаться вопросом и самому ответить, кто же кого подчинил.

У балкона, исхлестанного дождем, он все-таки проспал до начала пятого. Затем, вымывшись под душем, надел полевую форму и спустился в гостиницу пообедать. Позже он провел обычную проверку в казармах, а потом, словно очнувшись, спохватился: засунув руки в брюки, он стоит на углу, не зная, чем заняться.

Ближе к вечеру, еще держа руки в карманах, алькальд вошел в бильярдную. Из глубины пустого зала владелец поприветствовал его, но алькальд не ответил.

— Бутылку минералки, — заказал он.

Хозяин бильярдной с грохотом сдвинул бутылки в ящике со льдом.

— Если в один прекрасный день, — пошутил он, — вас вдруг прооперируют, в печени обнаружат полным-полно пузырьков.

Алькальд рассматривал стакан, отпил немного, отрыгнул и, облокотившись о стойку, так и остался сидеть, не отрывая глаз от стакана, а потом снова отрыгнул. Площадь была пустынна.

— Постойте, — сказал алькальд. — А почему пусто?

— Сегодня воскресенье, — напомнил владелец.

— А-а!

Положив монету на стойку, он вышел не попрощавшись. На углу площади кто-то, волочащий ноги так, словно у него был огромный хвост, что-то ему сказал, но что — алькальд не понял. Однако чуть позже смысл сказанного стал доходить до него; смутно понимая, что произошло что-то серьезное, алькальд направился в казармы. Не обратив внимания на толпящихся у двери людей, в несколько прыжков он поднялся по лестнице. Один полицейский поспешил к нему навстречу и вручил бумагу. Алькальду достаточно было беглого взгляда, чтобы понять, о чем идет речь.

— Он разбрасывал их в галере, — сказал полицейский.

Алькальд влетел в коридор. Открыв первую камеру, он остановился, положив руку на засов, и стал пристально вглядываться в полумрак, пока наконец не смог разглядеть юношу примерно двадцати лет, с заостренным, изрытым оспой желто-зеленым лицом. На голове — бейсбольная кепочка, на носу — очки.

— Как тебя зовут?

— Пепе.

— А фамилия?

— Пепе Амадор.

Некоторое время алькальд рассматривал его, пытаясь вспомнить: видел ли он его прежде? Юноша сидел на цементной полке, служившей заключенным кроватью. Казалось, он был спокоен. Юноша снял очки, протер их полой рубашки и, прищулив глаза, посмотрел на алькальда.

— Где я тебя видел? — спросил алькальд.

— Где-нибудь, — ответил Пепе Амадор.

Алькальд не стал заходить в камеру; он по-прежнему о чем-то думал, смотря на арестованного, потом стал не торопясь закрывать дверь.

— Ну что ж, Пепе, — сказал он, — кажется, тебе пришел пиздец.

Он задвинул засов и, положив ключ в карман, пошел в кабинет и там несколько раз перечитал листовку.

Усевшись у открытого балкона, алькальд не переставая давил москитов; на пустынных улицах загорались огни. Ему знакомо было это

состояние, в которое погружается мир по вечерам. Однажды в такой же вечер он в полной мере испытал впервые ощущение власти.

— Так, значит, они появились снова, — негромко сказал он.

Они появились снова. Как и раньше, они были напечатаны на ротапинтере с обеих сторон, их можно было бы узнать везде и в любое время по едва уловимому отпечатку тревоги, столь свойственной подполью.

Сгибая и разгибая листок бумаги, он долгое время просидел в темноте, погрузившись в свои мысли, пока не принял решение. Наконец сунул листовку в карман и нащупал там ключи от камеры.

— Ровира, — позвал он.

Полицейский, которому он доверял более всего, возник из темноты. Алькальд отдал ему ключи.

— Займись этим пареньком, — сказал он. — Постарайся убедить его, чтобы он назвал имена тех, кто привозит в городок листовки. Не добьешься по-хорошему, — уточнил он, — добейся по-плохому.

Полицейский ответил: сегодня ночью ему в патруль.

— Забудь об этом, — сказал алькальд. — Сейчас занимайся только арестованным. И еще, — добавил он, словно его только что осенило, — отпусти собравшийся во дворе народ: сегодня патрулирования не будет.

Он вызвал к себе в кабинет трех полицейских, по его приказу освобожденных сегодня от службы, и распорядился: надевайте форму, ту, что в шкафу. Пока те переодевались, он собрал со стола холостые патроны, выдававшиеся патрулям в предыдущие ночи, а из сейфа извлек горсть боевых.

— Сегодня ночью патрулирование будете проводить вы, — сказал он им, осматривая винтовки и выбирая лучшие. — Ничего делать не надо, нужно только, чтобы люди поняли сегодня на улицах вы.

Когда все разобрали оружие, он раздал патроны. И предупредил:

— Но зарубите себе на носу: первого же, кто откроет огонь, прикажу расстрелять. — Он подождал ответной реакции, но полицейские молчали. — Усекли?

Все трое — два метиса с ярко выраженными индейскими чертами и один светловолосый гигант с голубыми прозрачными глазами — выслушали последние слова, укладывая патроны в под сумки. Потом все трое стали по стойке «смирно»:

— Так точно, лейтенант.

— И еще, — сказал алькальд, переходя на обычный тон, — в городке сейчас братья Асисы. И совсем не исключено, что сегодня ночью вы встретите кого-нибудь из них пьяным; братья — любители ночных

приключений. Ни в коем случае никого из них не трогать. — И на этот раз ответной реакции не последовало. — Усекли?

— Так точно, лейтенант.

— Ну, коль вы в курсе, — подытожил алькальд, — тогда держите ушки на макушке.

* * *

Запирая церковь после вечерней молитвы, прочитанной на час раньше из-за комендантского часа, падре Анхель почувствовал запах гнили. Но зловоние возникло лишь на миг, так и не вызвав его любопытства. Позже, когда падре жарил нарезанные ломтями бананы и разогревал молоко, он догадался о причине запаха: Тринидад болела с субботы, и никто не убирал дохлых мышей. Тогда он вернулся в храм, открыл и вычистил мышеловки и отправился к жившей в двух кварталах от церкви Мине.

Дверь ему открыл сам Тото Висбаль. В небольшой полутемной гостиной, где в беспорядке стояли несколько табуреток с кожаными сиденьями, а стены были увешаны литографиями, мать Мины и слепая бабка пили какой-то ароматный горячий напиток. Мина делала искусственные цветы.

— Уже добрых пятнадцать лет, — сказала слепая, — как вы к нам, падре, не заходили.

И верно. Каждый вечер проходил падре мимо окна, где сидела Мина и делала бумажные цветы, но в дом к ним не заходил.

— Как незаметно идет время, — сказал он, а потом, давая понять, что торопится, обратился к Тото Висбалью: — Я пришел попросить вас об одной услуге: не может ли Мина с завтрашнего дня заняться в церкви мышеловками? Дело в том, — объяснил он Мине, — что Тринидад с субботы больна.

Тото Висбаль был не против.

— Нужно ли все это? — вмешалась слепая. — Все равно в этом году конец света.

Мать Мины положила руку на коленку старухи, чтобы та замолчала. Но слепая отбросила руку.

— Бог карает за суеверия, — сказал священник.

— Так сказано в Писании, — стояла на своем слепая, — кровь потечет по улицам, и не найдется силы людской, способной ее остановить.

Падре посмотрел на нее с состраданием: она была очень старая,

бледная как мел, и ее мертвые глаза, казалось, проникают в тайную суть вещей.

— Ну что же, будем купаться в крови, — пошутила Мина.

Тут падре Анхель повернулся к ней; он увидел черные как смола волосы и такое же бледное, как у слепой, лицо; была она окружена облаком из цветных лент и бумажек. И была похожа на живую аллегория на какой-нибудь школьной вечеринке.

— Сегодня воскресенье, а ты работаешь, — сказал он с упреком.

— Я ей об этом уже говорила, — снова вмешалась слепая. — И просыплется горящий пепел на ее голову.

Так как священник по-прежнему стоял, Тото Висбаль пододвинул табуретку и снова пригласил его сесть. Это был тщедушный мужчина, нервный и робкий.

— Нет, спасибо, иначе комендантский час застанет меня на улице, — объяснил падре свой отказ, а потом, обратив внимание на то, что с улицы не доносится ни единого звука, прокомментировал: — Наверное, уже за восемь.

Тут только падре понял: камеры последние два года пустовали, а сейчас за решеткой — Пепе Амадор, и городок снова в руках трех убийц. И люди с шести сидят по домам.

— Безумие, — произнес падре Анхель, словно говорил сам с собой. — Все, что сейчас происходит, — просто безумие!

— Рано или поздно все это должно было произойти, — сказал Тото Висбаль. — Страна расползается, как старое одеяло.

Он проводил падре до двери:

— Вы уже видели листовки?

Падре Анхель от удивления остолбенел:

— Снова?

— В августе, — снова заговорила слепая, — грядут три дня тьмы.

Мина протянула ей начатый цветок.

— Помолчи, — сказала она, — и закончи это.

Слепая ощупала цветок.

— Значит, они снова появились, — сказал падре.

— Примерно неделю тому назад, — сказал Тото Висбаль. — Здесь пока одна; неизвестно даже, как она попала к нам в город. Ну да вы сами знаете, как это бывает.

Священник утвердительно кивнул.

— В них говорится, что все осталось как прежде, — продолжал Тото Висбаль. — К власти пришло новое правительство; оно пообещало мир и

безопасность для всех, и сначала все этому поверили. Но все прежние чиновники остались на своих местах.

— И это суцая правда, — вмешалась в разговор мать Мины. — У нас снова комендантский час, а эти три преступника снова хозяйничают на улицах.

— Однако есть еще и такая новость, — сказал Тото Висбаль. — Говорят, что сейчас в стране снова организуются партизанские отряды.

— Сказано в Писании... — опять вмешалась слепая.

— Это абсурд, — сказал задумчиво священник. — Нельзя не признать, что положение изменилось. Или, по крайней мере, — поправился он, — менялось до сегодняшнего вечера.

Несколько часов спустя, мучимый бессонницей в духоте москитника, он задался вопросом: не остановилось ли время за те девятнадцать лет, что отдал он церковной службе в этом городе? У самой его двери послышался топот ботинок и клацанье оружия, — в былые времена за этим следовали винтовочные залпы. Позже, терзаемый бессонницей и жарой, он вдруг понял: уже давно поют петухи.

IX

Матео Асис попытался определить время по петушиным крикам. Наконец словно какая-то волна подхватила его и вынесла в действительность.

— Сколько времени?

В полумраке Нора Хакоб протянула руку и взяла с ночного столика часы со светящимся циферблатом. Вопрос, на который ей предстояло ответить, разбудил ее окончательно.

— Половина пятого, — ответила она.

— Ё-мое!

Матео Асис выпрыгнул из кровати. Но головная боль и резкий металлический привкус во рту заставили его убавить прыть. Ногами нащупал в темноте ботинки.

— Чуть было не проспал, — сказал он.

— Это было бы неплохо, — подколола она и, включив лампу, увидела его спину и бледные ягодицы, — тогда бы ты остался здесь на весь день до завтра.

Она была совсем нагая, лишь край простыни едва прикрывал ее лобок. При свете ее голос звучал мягко и застенчиво.

Матео Асис обулся. Был он высокий и плотный. Уже два года принимая время от времени его у себя, Нора Хакоб испытывала похожее на безысходность чувство: она была обречена хранить в тайне встречи с мужчиной, созданным, по ее мнению, только для того, чтобы женщина восхищалась им на всех перекрестках.

— Если ты не будешь за собой следить, скоро растолстеешь, — заметила она.

— Это все от хорошей жизни, — прибавил он, пытаясь скрыть недовольство. И, улыбаясь, добавил: — А может быть, я в положении?

— Если бы на то была воля Божья, — сказала она, — чтобы мужчины рожали, то вы не были бы такими эгоистами.

Матео Асис поднял с полу презерватив и трусы и направился в ванную; презерватив он выбросил в унитаз. Он умылся, стараясь глубоко не дышать: любой запах сейчас, на рассвете, был запахом Норы. Когда он вернулся в комнату, она уже сидела на кровати.

— В один прекрасный день, — сказала Нора Хакоб, — мне осточертеют эти игры в прятки и я расскажу всем обо всем.

Он посмотрел на нее только тогда, когда полностью оделся. Вспомнив, что груди у нее обвисшие, она, не переставая говорить, закрылась простыней до самого подбородка.

— Ну когда же, — продолжала она, — когда мы будем завтракать в кровати и любить друг друга до самого вечера?! Сейчас я готова на самое себя вывесить анонимку.

Он от души рассмеялся.

— А как там старый Бенхаминсито, одной ногой уже в могиле? — спросил он.

— Представь себе, — ответила она, — ждет, когда умрет Нестор Хакоб.

С порога он, прощаясь, помахал Норе рукой.

— Постарайся приехать в сочельник, — попросила она.

Он пообещал. Пройдя на цыпочках через двор, открыл ворота и вышел на улицу. Несколько мелких холодных капель упало на лицо и руки. Когда он подходил к площади, кто-то крикнул:

— Стой!

Карманный фонарик ослепил глаза; Матео Асис отвернулся.

— Ни хера себе! — воскликнул невидимый за лучом фонаря алькальд. — Вы только посмотрите, кого мы встретили! Уходишь или возвращаешься?

Фонарик погас, и Матео Асис увидел алькальда, а вместе с ним трех полицейских. У алькальда было свежевыбритое и умытое лицо, за спиной на ремне висел ручной пулемет.

— Возвращаюсь, — ответил Матео Асис.

Алькальд подошел ближе — посмотреть на часы при свете уличного фонаря. Было без десяти пять. Сделав горнисту-полицейскому знак играть отбой комендантского часа, он подождал, пока не умолкнет труба, — звуки горна внесли ноту грусти в начинающийся рассвет. Потом он отпустил полицейских и вместе с Матео Асисом пошел через площадь.

— Ну вот и все, — сказал он. — С анонимками покончено.

Однако в голосе звучало больше усталости, чем удовлетворения.

— Анонимщика поймали?

— Пока нет, — сказал алькальд. — Но я только что закончил последний обход и могу заверить, что впервые поутру не было ни одной анонимки. Стоило только прищемить хвост!..

Они подошли к дому Асисов, Матео прошел вперед — привязать собак. В кухне потягивалась прислуга. Когда вошел алькальд, посаженные на цепи собаки встретили его отчаянным лаем, но вскоре угомонились и

стали миролюбиво подпрыгивать и лениво зевать. Выйдя на кухню, вдова Асис увидела: мужчины сидят и пьют кофе. Уже рассвело.

— Ну что же, — сказала вдова, — мужчина-жаворонок — хороший хозяин, но плохой муж.

Вдова шутила, но на ее лице были видны следы бессонной и мучительной ночи. Алькальд ответил на приветствие и, подняв с полу ручной пулемет, повесил его на плечо.

— Пейте, лейтенант, кофе сколько хотите, — сказала вдова, — но оружия в мой дом не приносите.

— Ну что ты, — с улыбкой сказал Матео Асис. — Тебе нужно попросить у алькальда винтовку и с ней пойти на мессу. Неплохо?

— Чтобы защититься, мне эти штуки не нужны, — парировала вдова. — На нашей стороне — Божественное провидение. Мы, Асисы, — серьезно добавила она, — почитали Бога еще тогда, когда на много лиг вокруг не было ни одного священника.

Алькальд стал прощаться.

— Нужно отоспаться, — объяснил он. — Такая жизнь не для христиан.

Распугивая кур, гусей и индюков, уже забредших в дом, он направился к выходу. Вдова стала выгонять птиц. Матео Асис пошел в спальню, принял душ; переодевшись, снова вышел из дому и стал седлать своего мула: братья уехали на рассвете.

Когда сын снова появился во дворе, вдова была занята птичьими клетками.

— Запомни, — сказала она ему, — одно дело — беречь свою шкуру и совсем другое — уметь давать от ворот поворот.

— Он зашел только выпить чашечку кофе, — сказал Матео Асис. — Мы шли вместе и разговаривали и даже не заметили, как оказались здесь.

Стоя в конце крытого перехода, он смотрел на мать, но она, заговорив снова, к нему не обернулась. Казалось, она обращается к птицам.

— Больше я тебе об этом говорить не буду, — резко сказала она. — Но никогда впредь не приводи ко мне в дом убийц.

Наконец она повернулась к сыну и спросила напрямик:

— А где ты, собственно, шляется?

* * *

В это утро судье Аркадио даже в незначительных событиях повседневной жизни чудилось что-то зловещее.

— У меня болит голова, — сказал он, пытаясь как-то объяснить жене свое состояние тревоги.

Утро выдалось солнечное. Впервые за несколько недель даже река не выглядела угрожающе и от нее перестало разить сырой кожей. Судья Аркадио направился в парикмахерскую.

— Правосудие, — встретил его парикмахер, — хромает, но приходит.

Пол в парикмахерской был до блеска протерт керосином, а на зеркала нанесен слой свинцовых белил. Пока судья Аркадио усаживался в кресло, парикмахер полировал зеркала тряпкой.

— Понедельники не должны существовать, — сказал судья.

Парикмахер начал его стричь.

— Но ведь виноваты воскресенья, — возразил он. — Не будь воскресений, — уточнил он, — не существовали бы и понедельники.

Судья Аркадио закрыл глаза. На этот раз, после десятичасового сна, бурных любовных утех и долгого лежания в ванне, ему не в чем было упрекнуть воскресенье. И все же понедельник оказался тяжелейшим. Когда башенные часы пробили девять и сразу вслед за этим в соседнем доме послышалось стрекотание швейной машинки, судья Аркадио содрогнулся еще от одного знамения: безмолвия улиц.

— Это город-призрак, — сказал он.

— Но ведь вы и хотели, чтобы он был таким, — возразил парикмахер. — Раньше в понедельник к этому времени я, как минимум, обслуживал уже шестого. Сегодня же воздаю хвалу Богу, что хоть вы пришли.

Судья Аркадио открыл глаза и на миг задержал взгляд на отраженной в зеркале реке.

— Вы-ы? — протянул он. И спросил: — Кто это мы?

— Вы, — неопределенно ответил парикмахер. — До вас этот городок был, конечно, такое же говно, как и все остальные. Но сейчас он хуже всех.

— Ты мне говоришь это, — возразил судья, — потому, что знаешь: я к этим сволочным делам не имею никакого отношения. А ты бы осмелился, — спросил он совсем незлобиво, — сказать то же самое лейтенанту?

Парикмахер согласился, что нет.

— Но знаете ли вы, судья, что значит вставать по утрам с ощущением, что сегодня тебя непременно убьют? И так проходит десять лет, а тебя все не убивают...

— Не знаю, — согласился судья Аркадио, — да и знать не хочу.

— Молите Бога, — сказал парикмахер, — чтобы вы этого никогда и не

узнали бы.

Судья опустил голову. После долгого молчания спросил:

— Знаешь что, Гуардиола? — и, не дожидаясь ответа, продолжал: — Лейтенант начинает обживать в городке. И с каждым днем он это делает все более основательно, поскольку открыл для себя одно удовольствие, из-под власти которого он не сможет освободиться никогда: мало-помалу, без особого шума, он богатеет.

Парикмахер слушал его не проронив ни слова, и судья наконец подытожил:

— Бьюсь об заклад, что на его счету больше не появится ни одного убитого.

— Вы так думаете?

— Ставлю сто против одного, — настаивал судья Аркадио. — Для него сейчас нет дела выгоднее мира.

Парикмахер закончил стрижку, откинул спинку кресла назад и молча сменил простыню. Когда он заговорил, в его голосе чувствовалось замешательство.

— Странно, что это говорите вы, — сказал он, — и странно, что вы это говорите мне.

Если бы он мог сейчас это сделать, то судья Аркадио пожал бы плечами.

— Я это говорю уже не первый раз, — уточнил он.

— Но ведь лейтенант — ваш лучший друг, — сказал парикмахер.

Он заговорил тише, его голос стал напряженным и доверительным. Он принялся старательно изображать человека, целиком погруженного в работу, и от этого на его лице возникло выражение как у неграмотного, которому нужно расписаться.

— Скажи мне вот что, Гуардиола, — обратился к парикмахеру судья Аркадио с ноткой торжественности в голосе. — Что ты думаешь обо мне?

Парикмахер начал его брить. Прежде чем ответить, он на мгновение задумался.

— До сих пор, — сказал он, — я думал: вы — человек который знает, что уйдет, и хочет уйти.

— Можешь продолжать думать так и дальше, — улыбнулся судья.

Он позволил себя побрить, как бы, наверное, позволил себя и обезглавить, — с таким же мрачным равнодушием. Судья по-прежнему не открывал глаз, а парикмахер натирал его подбородок квасцами, пудрил его и смахивал с его одежды остатки волос мягкой щеткой. Снимая с шеи судьи простыню, он сунул ему в карман рубашки листок.

— Вы, судья, только в одном ошибаетесь, — сказал он ему. — У нас в стране еще заварится каша.

Встав из кресла, судья Аркадио огляделся и убедился: в парикмахерской они по-прежнему одни. Казалось, пылающее солнце, стрекот швейной машинки в тишине утра, неумолимо наступивший понедельник подтверждают: они совершенно одни в этом городке. Тогда он вынул из кармана листок и прочитал. Повернувшись к нему спиной, парикмахер наводил порядок на столике.

— Два года говорильни, — процитировал он по памяти. — И по-прежнему все то же военное положение, та же цензура, те же чиновники. — Увидев в зеркале, что судья Аркадио закончил читать, сказал: — Передайте другому.

Судья снова спрятал листок в карман.

— Ты смелый человек, — сказал он.

— Если бы я хоть раз в ком-нибудь ошибся, — сказал парикмахер, — уже давным-давно был бы дырявым как сито. — Потом серьезным голосом добавил: — И не забывайте, судья: это должно остаться между нами.

Выйдя из парикмахерской, судья Аркадио почувствовал: во рту у него пересохло. Зайдя в бильярдную, он заказал две порции спиртного, а потом, когда выпил обе стопки подряд одну за другой, до него дошло, что впереди еще много времени. Ему вспомнилось, как еще в университете однажды в Страстную пятницу он попытался вылечить себя от дурной болезни: совершенно трезвый зашел в туалет какого-то бара, насыпал пороха себе на шанкр и поджег.

На четвертой порции дон Роке дозу уменьшил.

— При таком темпе, — сказал он с улыбкой, — вас вынесут отсюда, как тореадора, на плечах.

Судья растянул губы в ответной улыбке, но глаза его оставались по-прежнему потухшими. Полчаса спустя он направился в туалет, помочился и, прежде чем выйти, выбросил листовку в унитаз.

Когда он вернулся к стойке, увидел: рядом со стаканом стоит бутылка с чернильной отметиной.

— Это я сделал для вас, — сказал ему, медленно обмахиваясь, дон Роке.

В бильярдной они были одни. Судья Аркадио налил себе полстакана и не спеша стал пить.

— Знаете что? — спросил он. Но дон Роке, казалось, его не слышал. Тогда судья сказал: — Каша в стране еще заварится.

Когда дону Сабасу сообщили, что снова пришел сеньор Кармайкл, он взвешивал свой завтрак.

— Скажи ему, что я сплю, — прошептал он на ухо жене.

И в самом деле, десятью минутами позже он уже спал. Когда проснулся, воздух был знойным, жара парализовала весь дом. Было уже за полдень.

— Что тебе снилось? — спросила его жена.

— Ничего.

Она не будила мужа, ждала, пока он не проснется сам. Вскоре она уже кипятила шприц, и дон Сабас сам себе сделал укол инсулина в бедро.

— Уже три года тебе ничего не снится, — сказала жена с несколько запоздалым разочарованием.

— Дура! — воскликнул дон Сабас. — Что тебе от меня надо? Ведь нельзя видеть сны по заказу!

Несколько лет тому назад во время короткого полуденного отдыха приснился дону Сабасу дуб, но вместо листьев были на нем бритвенные лезвия. Жена правильно истолковала этот сон — и действительно выиграла в лотерее.

— Ну, если не приснилось сегодня, приснится завтра, — успокоила она.

— Ни сегодня, ни завтра, — раздраженно возразил дон Сабас. — Не думай себе, что я буду видеть сны специально для того, чтобы только ублажить тебя.

Он снова растянулся на кровати, а жена принялась наводить порядок в комнате. Из комнаты уже давно были вынесены все колющие и режущие инструменты. Через полчаса, стараясь не раздражаться, дон Сабас медленно поднялся и стал одеваться.

— Ну, — спросил он, — так что же сказал Кармайкл?

— Что придет попозже.

Они замолчали и вновь заговорили только тогда, когда сели за стол. Дон Сабас клевал по крошке свой более чем скромный завтрак. А у жены завтрак был обильным; если учесть ее хрупкую фигуру и томное выражение лица, можно сказать — слишком обильным. Она долго собиралась с духом, прежде чем решилась задать вопрос:

— Чего хочет Кармайкл?

Дон Сабас даже не поднял головы:

— А чего он может хотеть?! Разумеется, денег.

— Я так и думала, — вздохнула жена. И жалостливо продолжала: — Бедняга Кармайкл! За долгие годы столько денег прошло через его руки, а ему приходится у всех просить!

Она так разволновалась, что потеряла всякий аппетит.

— Не откажи ему, Сабитас, [\[18\]](#) — попросила она. — Бог тебе воздаст. — Она сложила на тарелку крест-накрест вилку и нож и поинтересовалась: — А сколько он просит?

— Двести песо, — невозмутимо ответил дон Сабас.

— Двести песо!

— Представь себе!

В отличие от воскресений — а в воскресенья у дона Сабаса всегда было полно работы — понедельники у него обычно были спокойными. Он мог часами, усевшись перед вентилятором, дремать в конторе, а в это время скот в его стадах рос, нагуливал жир и размножался. В этот день, однако, он не смог отдохнуть ни минуты.

— Это из-за жары, — сказала жена.

В выцветших зрачках дона Сабаса вспыхнула искра сильного раздражения. В тесной конторе, где стояли старый деревянный письменный стол, четыре кожаных кресла, а в углах были свалены сбруи, жалюзи на окнах были закрыты и воздух был душным и вязким.

— Может быть, — сказал он. — В октябре никогда не было такого пекла.

— Пятнадцать лет тому назад, когда стояла такая же жара, случилось землетрясение, — сказала его жена. — Помнишь?

— Не помню, — рассеянно ответил дон Сабас, — ты ведь знаешь: я никогда ничего не помню. И кроме того, — добавил он раздраженно, — я сегодня не намерен вести разговоры о всяких бедах.

Закрыв глаза и скрестив руки на животе, он сделал вид, будто засыпает.

— Если придет Кармайкл, — пробормотал он, — скажи, что меня нет.

Лицо жены сделалось умоляющим.

— Зачем ты так?!

Но он не сказал больше ни слова. Она вышла из конторы, бесшумно прикрыв за собой забранную проволочной сеткой дверь. Уже наступил вечер, когда, и на самом деле поспав, дон Сабас открыл глаза и увидел перед собой, словно продолжение сна, алькальда, сидящего в кресле и ожидающего его пробуждения.

— Такому человеку, как вы, — улыбнулся алькальд, — не следует

спать с открытой дверью.

Дон Сабас, чтобы не выдать свою растерянность, и бровью не повел.

— Для вас, — нашелся он, — двери моего дома всегда открыты.

Он протянул руку, чтобы позвонить в колокольчик, но алькальд жестом остановил его.

— Кофе будете?

— Не сейчас, — сказал алькальд, обводя комнату печальным взглядом. — Пока вы спали, мне было здесь хорошо. Словно оказался я в другом городе.

Дон Сабас потер глаза тыльной стороной руки:

— Который час?

Алькальд глянул на часы.

— Скоро пять, — сказал он. Потом, усевшись в кресле поудобнее, спросил вкрадчивым голосом: — Ну что же, поговорим?

— Разумеется, — ответил дон Сабас. — А что мне еще остается?!

— Да и был бы смысл держать язык за зубами, — сказал алькальд. — В конце концов, все это известно уже всем. — И все так же спокойно, не повышая голоса, не жестикулируя, добавил: — Скажите мне, пожалуйста, дон Сабас, сколько голов скота, принадлежащих вдове де Монтель, вам удалось выкрасть и переклеймить с тех пор, как она предложила вам их купить?

Дон Сабас пожал плечами:

— Не имею ни малейшего понятия.

— Вы, наверное, не забыли, — сказал алькальд, — как это называется?

— Кража скота, — ответил дон Сабас.

— Именно так, — подтвердил алькальд. — Предположим, — продолжал алькальд, не меняя тона, — что угнали двести голов за три дня.

— Если бы! — хмыкнул дон Сабас.

— Итак, двести, — сказал алькальд. — А условия вы знаете: пятьдесят песо муниципального налога с каждой головы.

— Сорок.

— Пятьдесят.

Молчание дона Сабаса было знаком согласия. Откинувшись на спинку кресла, он вертел на пальце кольцо с черным отполированным камнем, глаза его смотрели пристально, словно он всматривался в шахматную доску.

Алькальд без тени малейшей жалости внимательно наблюдал за ним.

— Однако точку ставить рано, — продолжал он. — С сегодняшнего дня весь скот Хосе Монтеля, независимо от его местонахождения, — под

защитой муниципалитета. — И, не дожидаясь ответа, пояснил: — Как вам известно, эта бедная женщина совершенно не в своем уме.

— А Кармайкл?

— Кармайкл, — сказал алькальд, — уже два часа как арестован.

Дон Сабас посмотрел на алькальда долгим взглядом, который можно было бы назвать и восхищенным и недоуменным. И неожиданно, уже и не пытаясь сдержать рвущийся наружу смех, дон Сабас лег всем своим мягким и большим телом на письменный стол.

— Ну, лейтенант! — сказал он. — Такое только в сказках бывает!

* * *

Под вечер доктор Хиральдо окончательно уверовал, что ему удалось вернуть свою молодость. Миндальные деревья на площади снова были покрыты пылью. Уходила еще одна зима, и ее неслышная поступь оставила глубокий след в памяти. Возвращаясь со своей вечерней прогулки, падре Анхель увидел, как врач пытается вставить ключ в скважину замка своего кабинета.

— Вот видите, доктор, — сказал он с улыбкой, — даже дверь без Божьей помощи не открыть.

— Или без карманного фонарика, — улыбнулся в ответ доктор. Он повернул ключ в замке, а потом повернулся к падре Анхелю. В сумерках тот казался расплывчатым багровым пятном.

— Минутку, падре, — сказал доктор. — Мне кажется, у вас шалит печень. — И взял его за локоть.

— Вы так считаете?

В небольшой приемной врач включил свет и всмотрелся в лицо священника, скорее просто с человеческим сочувствием, чем с профессиональным интересом. Затем он открыл забранную металлической сеткой дверь и зажег свет в кабинете.

— Не будет лишним, падре, если минут пять мы уделим вашему телу, — сказал он. — И давайте-ка проверим ваше давление.

Падре Анхель спешил, но, повинувшись настояниям врача, прошел в кабинет и закатал рукав.

— В мое время, — сказал он, — никаких приборов не было.

Доктор Хиральдо поставил напротив него стул, сел и стал прилаживать тонометр.

— Сейчас тоже ваше время, падре, — сказал он с улыбкой, — не надо

старить себя.

Пока врач смотрел на показания тонометра, священник рассматривал помещение тем бездумно-праздным взглядом, каким и осматривают обычно врачебные кабинеты. На стенах висели уже пожелтевший диплом, литография фиолетовой девочки с покрытой синими язвами щекой и картина, на которой врач оспаривает у Смерти обнаженную женщину. В глубине — шкаф, заполненный пузырьками с надписями, перед шкафом — железная больничная койка, выкрашенная в белый цвет. У окна — застекленный шкаф с инструментами, рядом еще два — набитые книгами. Резко пахло медицинским спиртом.

Доктор Хиральдо закончил измерять давление; на лице его не дрогнул ни один мускул.

— В кабинете не хватает святого, — пробормотал падре Анхель.

Врач скользнул взглядом по стенам.

— Не только в кабинете, — ответил он. — Во всем городе.

Спрятав тонометр в кожаный футляр, доктор резко закрыл его и сказал:

— К вашему сведению, падре, давление у вас прекрасное.

— Я так и полагал, — отозвался священник. А потом удивленно добавил: — Никогда в октябре я не чувствовал себя так хорошо.

Он стал медленно спускать рукав. Его сутана с заштопанными краями, рваные туфли и грубые руки с ногтями, напоминающими по цвету обожженный рог, лучше всяких слов говорили о крайней бедности святого отца.

— Тем не менее, — возразил врач, — ваше самочувствие меня беспокоит: надо признать, для такого октября, как нынешний, ваш образ жизни не подходит.

— Господь наш взыскивает с нас, — сказал падре.

Повернувшись к священнику спиной, врач посмотрел в окно на темную реку.

— Я задаюсь вопросом: до каких пор? — сказал он. — До каких пор будет продолжаться это противное Богу дело — беспощадное подавление в людях их чувств на протяжении уже стольких лет, — а ведь надо признаться: под прессом насилия все остается по-прежнему.

И после долгого молчания снова спросил:

— А не считаете ли вы, что в последние дни плоды вашего неустанного труда погибают?

— На протяжении всей моей жизни каждую ночь я прихожу к подобному итогу, — ответил падре Анхель. — Поэтому знаю: на

следующий день я должен отдать своему делу еще больше сил.

Он встал.

— Уже, наверное, шесть, — сказал падре, собираясь уйти.

Не отходя от окна, врач простер к нему руку, словно хотел задержать его, и сказал:

— Падре, мой вам совет: в одну из ночей положите руку на сердце и честно спросите самого себя, а не помогаете ли вы нравственности так же, как примочки покойнику?

Падре Анхель не смог скрыть охватившее его волнение.

— На смертном одре, — сказал он, — вы, доктор, узнаете, сколько весят ваши слова. — Он попрощался и тихо затворил за собой дверь.

Сосредоточиться на молитве падре был уже не в силах. Когда он закрывал церковь, подошла Мина и сказала, что за два дня в мышеловку попалась всего лишь одна мышь. Но падре полагал: пока Тринидад больна, мыши настолько расплодились, что могут подрывать стены церкви. Хотя Мина расставляет мышеловки, кладет отравленный сыр, отыскивает мышиный помет и заливает асфальтом норки, которые помогает ей находить сам падре.

— Вложи в свою работу хоть немного веры, — сказал падре, — и мыши сами, как ягнята, пойдут в мышеловки.

Падре долго ворочался на голой циновке, прежде чем уснул. Измученный бессонницей донельзя, падре вдруг со всей ясностью осознал: слова врача вызвали в его сердце горькое чувство поражения. Душевная смута, суматошная беготня по церкви и пугающая реальность комендантского часа, словно сговорившись друг с другом, с неодолимой силой бросили его в водоворот самого страшного воспоминания.

Его, только что приехавшего в город, разбудили среди ночи и попросили причастить Нору Хакоб. В спальне, в которой уже ощущалось дыхание смерти, где не осталось уже ничего, кроме распятия над изголовьем кровати и пустых стульев у стены, он услышал трагическую исповедь, рассказанную спокойно, просто и подробно. Умиравшая призналась: ее муж Нестор Хакоб не был отцом дочери, которую она только что родила. Падре Анхель согласился отпустить грехи, только если она повторит исповедь и покается в присутствии мужа.

Хозяин цирка командовал, а работники выдергивали из земли стойки, — и наконец купол, с жалобным свистом — так воет ветер среди деревьев, — медленно опал. К утру все было уже упаковано; восседая на сундуках и баулах, женщины и дети завтракали, а мужчины грузили зверей на баркасы. Когда суда дали первый гудок, лишь следы от очагов на голом пустыре говорили о том, что городок посетил какой-то доисторический зверь.

Алькальд не спал. Сначала он наблюдал с балкона, как грузится цирк, потом сошел вниз и присоединился к бурлящей на пристани толпе; он был в военной форме, глаза его от недосыпания были воспалены, а лицо покрывала двухдневная щетина. Хозяин цирка увидел его с крыши баркаса.

— Счастливо оставаться, лейтенант, — крикнул он ему. — Оставляю вам ваше королевство.

Он был в широком блестящем одеянии, придававшем его округлому лицу нечто жреческое. В кулаке зажат хлыст.

Алькальд подошел к краю пристани.

— Сожалею, генерал, — разводя руками, ответил он тоже шутливо. — Только будьте так любезны, скажите: почему вы уезжаете? — Алькальд повернулся к толпе и выкрикнул:

— Я аннулировал договор, потому что он отказался дать бесплатное представление для детей.

Прощальный гудок судов и шум двигателей заглушили ответ хозяина цирка. От воды пахло поднятой со дна тиной. Хозяин цирка подождал, пока баркасы не развернутся на середине реки, и тогда, навалившись всем телом на борт и сложив ладони рупором, он прокричал как только мог громко:

— Прощай, полицейский выблядок.

Алькальд и глазом не моргнул. Подождал, не вынимая рук из карманов, пока не стихнет шум двигателей, потом, улыбаясь, прошел через толпу и вошел в лавку сирийца Моисея.

Еще не было и восьми. А сириец уже начал убирать выставленный у дверей товар.

— Похоже, и вы уезжаете? — спросил алькальд.

— Ненадолго, — глядя на небо, ответил сириец. — Скоро будет дождь.

— По средам дождя не бывает, — заверил алькальд.

Облокотясь о прилавок, он наблюдал за тяжелыми дождевыми тучами, повисшими над пристанью; сириец убрал товар и велел жене принести кофе.

— Если и дальше так пойдет, — вздохнул алькальд, словно говорил сам себе, — нам придется просить людей займы у других городков.

Алькальд пил кофе маленькими неторопливыми глотками. Еще три семьи только что уехали из города. За неделю, по подсчетам сирийца Моисея, из городка уехали уже пять семей.

— Рано или поздно вернутся, — заверил алькальд. Он стал внимательно разглядывать кофейную гущу на дне чашки, а затем, словно думая о чем-то ином, добавил: — Куда бы они ни уехали, им все равно не забыть, что их родные зарыты в этой земле.

Несмотря на прогноз алькальда, вскоре на город обрушился ливень — начался настоящий потоп, и алькальду пришлось остаться в лавке сирийца. Дождь кончился, и алькальд пошел в полицейские казармы, там он увидел сеньора Кармайкла: промокший до последней нитки, он сидел на скамейке посередине двора.

Алькальд заниматься им не стал. Выслушав рапорт дежурного, приказал открыть камеру, где Пепе Амадор, лежавший ничком на кирпичном полу, казалось, спит крепким сном. Он перевернул тело юноши ногой и посмотрел с тайным состраданием на изуродованное побоями лицо.

— Сколько дней он не ест? — спросил алькальд.

— С позавчера.

Алькальд приказал поднять его. Трое полицейских, подхватив юношу под мышки, проволокли его через камеру и посадили на бетонную скамью, вделанную в стену в полуметре от пола. Там, где только что лежал Пепе, осталось влажное пятно.

Двое полицейских поддерживали его в сидячем положении, а третий за волосы приподнял голову юноши. Только неровное дыхание и подрагивающие губы на измученном донельзя лице говорили о том, что Пепе еще жив.

Когда полицейские его отпустили, юноша, вцепившись в край бетонной скамьи, открыл глаза, потом, застонав, рухнул лицом вниз на скамью. Выходя из камеры, алькальд велел накормить арестованного и дать ему поспать.

— Потом, — приказал он, — продолжайте его обрабатывать, пока не выложит все, что знает. Думаю, скоро он расколется.

С балкона алькальд выглянул во двор и снова увидел: подперев голову

ладонями рук, съежившись, сеньор Кармайкл сидит на скамье.

— Ровира, — позвал алькальд, — сходи к Кармайклу домой и скажи его жене: пусть передаст мужу одежду. А потом, — добавил алькальд, — приведи его ко мне в кабинет.

Облокотившись о письменный стол, алькальд уже засыпал, когда в дверь постучали. Это привели сеньора Кармайкла, тот был одет в белое и сухое, только мокрые ботинки вздулись и размякли, словно у утопленника. Но прежде чем заняться им, алькальд приказал полицейскому снова сходить к Кармайклу — за туфлями.

Сеньор Кармайкл, протестуя взмахнув рукой, сказал полицейскому:

— Не стоит. — Затем, обращаясь к алькальду, с достоинством и решительностью объяснил: — Они у меня единственные.

Алькальд пригласил его сесть. Уже прошли сутки, как сеньор Кармайкл был доставлен в кабинет алькальда и подвергнут допросу с пристрастием по поводу имущества семейства Монтель. Он рассказал все, в мельчайших подробностях. Но когда алькальд сказал ему о своем намерении купить наследство по ценам, установленным муниципальными экспертами, сеньор Кармайкл с нестигаемой решительностью заявил, что не может на это согласиться, пока все бумаги о наследстве не будут приведены в порядок.

И сегодня, несмотря на то что, промокший и голодный, он сутки просидел под открытым небом, сеньор Кармайкл отвечал все с той же нестигаемой решительностью.

— Ты просто упрямый осел, Кармайкл, — сказал алькальд. — Пока бумаги будут приводить в порядок, этот бандит дон Сабас переклеймит своим клеймом весь скот Монтеля.

Сеньор Кармайкл лишь пожал плечами.

— Ну ладно, — после долгой паузы сказал алькальд. — Всем известно: ты — честный человек. Но вспомни: пять лет тому назад дон Сабас передал Хосе Монтелью полный список лиц, связанных с партизанами, и только поэтому ему, единственному из руководителей оппозиции, было позволено остаться в городке.

— Остался еще один, — с явной издевкой сказал сеньор Кармайкл, — зубной врач.

Алькальд пропустил эти слова мимо ушей.

— Неужели ты считаешь, что ради такого человека, продавшего своих людей ни за понюшку табака, стоит сутки подряд торчать под открытым небом?

Сеньор Кармайкл опустил голову и стал рассматривать ногти.

Алькальд присел на край письменного стола.

— А кроме того, — сказал он вкрадчиво, — подумай о детях.

Сеньор Кармайкл не знал, что его жена и два старших сына были у алькальда вчера вечером и тот им пообещал, что не пройдет и суток, как Кармайкл будет на свободе.

— Не беспокойтесь о них, — сказал сеньор Кармайкл. — Они не дадут себя в обиду.

Он поднял голову только тогда, когда услышал, что алькальд принялся ходить по кабинету из угла в угол. Тогда сеньор Кармайкл вздохнул и сказал:

— У вас, лейтенант, есть еще одно средство. — Бросив на алькальда ласково-покорный взгляд, он закончил: — Пристрелить меня.

Ответа не последовало. Спустя минуту алькальд спал как убитый в своем кабинете, а сеньор Кармайкл снова сидел во дворе на скамье.

А в двух кварталах от казармы секретарь суда чувствовал себя счастливым. Утренние часы он провел подремывая в глубине конторы, а потом — и надо же было такому случиться — увидел великолепные груди Ребеки Асис. Это было как вспышка молнии: внезапно открылась дверь ванной и в комнате возникла очаровательная женщина — на ней не было ничего, кроме полотенца на голове, — женщина испуганно вскрикнула и тотчас закрыла окна.

С полчаса в полумраке конторы секретарь с тоской воскрешал это видение. Ближе к полудню он повесил на дверь замок и отправился перекусить, чтобы тем самым подпитать свое воспоминание.

Когда он проходил мимо почтового отделения, телеграфист помахал ему рукой, приглашая подойти.

— У нас будет новый священник, — сказал он. — Вдова Асис накатала письмо апостолическому префекту.

Секретарь не одобрил его откровенность.

— Лучшая добродетель мужчины, — сказал он, — это умение хранить тайну.

На углу площади он увидел сеньора Бенхамин, — тот стоял, размышляя, сможет ли он перепрыгнуть через лужу, разлившуюся перед его лавкой.

— Если бы вы только знали, сеньор Бенхамин... — начал секретарь.

— А в чем дело? — спросил сеньор Бенхамин.

— Да ни в чем, — сказал секретарь. — Я унесу эту тайну с собой в могилу.

Сеньор Бенхамин пожал плечами. Но когда он увидел, с какой почти

юношеской ловкостью секретарь перескакивает через лужи, то и сам решился.

Пока он отсутствовал, кто-то принес в комнату за лавкой судки, тарелки, столовый прибор и сложенную пополам скатерть. Сеньор Бенхамин покрыл скатертью стол и с величайшей осторожностью разложил на ней все необходимое для обеда. Сначала он съел желтый, с большими круглыми пятнами жира суп, в котором лежала мясная кость. На второе — рис с тушеным мясом и куском жареной юкки. Становилось все жарче, но сеньор Бенхамин не обращал на это внимания. Пообедав, он сложил тарелки и судки и выпил стакан воды.

Он уже собирался повесить гамак, когда услышал, что кто-то входит в лавку.

Голос, словно бы сонный, спросил:

— Сеньор Бенхамин здесь?

Он обернулся и увидел женщину в черном, с землистым цветом лица, ее голову покрывало полотенце. Это была мать Пепе Амадора.

— Меня нет, — сказал сеньор Бенхамин.

— Но ведь это вы? — спросила женщина.

— Ну и что из этого? — сказал он. — Меня все равно что нет, так как я знаю, зачем я вам нужен.

В растерянности женщина остановилась в дверях, а сеньор Бенхамин уже успел повесить гамак. При каждом выдохе из его груди вырывался тихий свист.

— Не стойте в дверях, — неласково сказал сеньор Бенхамин. — Или уходите, или входите в дом.

Женщина вошла, села на стул, стоящий у стойки, и беззвучно заплакала.

— Извините, — сказал он. — Но вы должны понимать, что, стоя в дверях, вы меня компрометируете перед всеми.

Мать Пепе Амадора сняла с головы полотенце и вытерла им глаза. Как обычно, повесив гамак, сеньор Бенхамин проверил прочность веревок. Затем снова обратился к женщине.

— В общем, — сказал он, — вы хотите, чтобы я написал вам прошение.

Женщина кивнула.

— Я так и знал, — продолжал сеньор Бенхамин. — Вы все еще верите в силу прошений. А в наше время, — он понизил голос, — все решают не бумаги, а пули.

— Да, это все говорят, — сказала женщина, — но не у всех, а только у

меня одной сын в тюрьме.

Пока говорила, она развязала узелки на платке — его она до этого все время сжимала в кулачке — и вынула несколько измятых, пропитанных потом бумажек: восемь песо. Протянула их сеньору Бенхамину.

— Это все, что у меня есть, — сказала она.

Сеньор Бенхамин посмотрел на деньги, пожал плечами, потом взял банкноты и положил их на стол.

— Одно могу сказать наверняка: писать прошение бесполезно, — сказал он. — Но я напишу, только чтобы доказать Богу, что я — человек настойчивый.

Молча женщина поблагодарила его, кивнув, и снова заплакала.

— Во что бы то ни стало, — посоветовал ей сеньор Бенхамин, — добейтесь у алькальда встречи с вашим сыном и убедите его рассказать все, что знает. Иначе эти прошения — коту под хвост.

Женщина высморкалась в полотенце, снова прикрыла им голову и, не обернувшись, вышла из лавки.

Сиеста у сеньора Бенхамина длилась до четырех дня. Когда он вышел умыться во двор, небо было ясное, а воздух так и кишел летающими муравьями. Переодевшись и причесав редующие волосы, он отправился на почту купить гербовую бумагу.

Он уже возвращался назад в лавку, чтобы написать прошение, как понял: в городе что-то произошло. Издалека слышались крики. У пробежавших мимо ребятишек он спросил, что случилось, и те, не останавливаясь, объяснили. Тогда он вернулся на почту и отдал гербовую бумагу назад.

— Уже не понадобится, — сказал он, — Пепе Амадора убили.

* * *

Еще полусонный, в одной руке зажав ремень, а другой застегивая гимнастерку, алькальд в два прыжка скатился вниз по лестнице. Необычная для этого часа яркость неба заставила алькальда подумать: сколько же сейчас времени? Еще не поняв толком, что случилось, он понял: нужно идти в казармы.

Когда он проходил по улице, окна поспешно закрывались. Навстречу, широко раскинув руки, по середине улицы бежала женщина. В прозрачном воздухе сновали летающие муравьи. Не зная еще, что случилось, алькальд вынул из кобуры револьвер и побежал.

Несколько женщин ломались в дверь казармы. Мужчины пытались их оттолкнуть. Работая кулаками, алькальд пробился к двери, прижался к ней спиной и направил на собравшихся револьвер:

— Один шаг — и буду стрелять.

Полицейский, державший дверь изнутри, распахнул ее и, встав с винтовкой на пороге, засвистел в свисток. Еще два полицейских выскочили на балкон и несколько раз выстрелили в воздух — толпа бросилась врассыпную. В этот миг, воя словно собака, из-за угла появилась женщина. Алькальд узнал мать Пеппе Амадора. В мгновение ока он оказался внутри казармы и уже с лестницы приказал полицейскому:

— Займитесь ею!

Внутри казармы царила мертвая тишина.

Алькальд не догадывался, что случилось, пока, отстранив загораживающих вход в камеру полицейских, не увидел Пеппе Амадора, — тот лежал на полу скорчившись, зажав руки меж коленей. Лицо белое, следов крови видно не было.

Убедившись, что на теле нет никаких ран, алькальд перевернул юношу лицом вверх, заправил рубашку в брюки и застегнул ширинку. Затем застегнул и ремень.

Когда он выпрямился, лицо его вновь обрело выражение уверенности, но полицейские все-таки смогли разглядеть признаки усталости.

— Кто это сделал?

— Все, — ответил белокурый гигант, — он пытался бежать.

Алькальд задумчиво посмотрел на него, и несколько мгновений казалось, что больше он ничего и не скажет.

— Этой сказкой сейчас уже никого не обманешь, — произнес алькальд наконец. Он шагнул к светловолосому исполину и протянул руку: — Сдай оружие.

Полицейский снял ремень и вместе с револьвером отдал его алькальду. Тот, заменив в барабане стреляные гильзы новыми патронами, пустые гильзы спрятал в карман, а револьвер отдал другому полицейскому. Белокурый гигант, чье лицо, казалось, излучает ребяческую наивность, безропотно позволил отвести себя в соседнюю камеру. Там он разделся донага и отдал одежду алькальду. Все было сделано не спеша, словно они оба принимали участие в какой-нибудь церемонии, где каждый из них знал, что ему надлежит делать. Наконец алькальд лично запер камеру, в которой лежал убитый юноша, и вышел на балкон. Сеньор Кармайкл по-прежнему сидел во дворе на скамье.

Когда его снова привели в кабинет, приглашение садиться он оставил

без внимания. Так и остался стоять перед письменным столом — снова промокший до нитки — и едва удостоил алькальда кивком, когда тот спросил, все ли ему теперь ясно?

— Ну ладно, — сказал алькальд. — У меня пока не было времени подумать, что мне с тобой делать, да я даже и не знаю, буду ли я что-либо предпринимать. Но что бы я ни придумал, помни одно: так или иначе, ты в дерьме по самые уши.

Сеньор Кармайкл стоял перед столом алькальда все с тем же отсутствующим видом; одежда его прилипла к телу, лицо начало опухать, словно у утопленника, пробывшего трое суток в воде. Алькальд тщетно ждал от него хоть какой-нибудь реакции.

— Так что уясни себе, Кармайкл: мы теперь с тобой компаньоны.

Алькальд произнес это мрачно, даже трагично. Но сеньор Кармайкл, казалось, его не слышит. Опухший и печальный, он по-прежнему стоял перед письменным столом не шелохнувшись, даже когда за алькальдом закрылась бронированная дверь.

На улице, у самой казармы, двое полицейских держали за руки мать Пепе Амадора. Могло показаться: все они трое отдыхают. Женщина дышала спокойно, в глазах не было видно слез. Но стоило только алькальду появиться в дверях — она, хрипло воя, рванулась с такой силой, что одному полицейскому пришлось ее выпустить, но другой, применив специальный захват, прижал ее к земле.

Алькальд на нее даже не взглянул. В сопровождении одного из полицейских он направился к стоявшей на углу и наблюдавшей за происходящим группке людей. Ни к кому не обращаясь конкретно, он сказал:

— Во избежание худшего пусть кто-нибудь из вас уведет эту женщину домой.

По-прежнему в сопровождении полицейского он протолкался через толпу и направился к суду. Там никого не было. Тогда он пошел к дому судьи Аркадио, не стучась, открыл дверь и с порога крикнул:

— Судья.

Измученная беременностью, жена судьи Аркадио ответила из полумрака:

— Он ушел.

Алькальд все стоял на пороге.

— Куда?

— Куда он может пойти? — сказала жена. — К этим вонючим блядам.

Алькальд сделал знак полицейскому: не отставать. Даже не глянув на

женщину, они прошли внутрь. Перевернув спальню вверх дном и не обнаружив нигде вещей судьи, они вернулись в гостиную.

— Когда он ушел? — спросил алькальд.

— Позавчера вечером, — ответила жена.

Алькальд задумался.

— Выблядок, — неожиданно заорал он. — Хоть под землей, хоть в утробе своей бляди-матери прячься, все равно, до живого или мертвого, мы до тебя доберемся. У правительства руки длинные!

Женщина только вздохнула:

— Да услышит вас Бог, лейтенант.

Начинало смеркаться. Возле казармы еще маячили кучки людей, — полицейские отгоняли их, не разрешая подходить близко, — но мать Пепе Аматора уже увели, и городок, казалось, успокоился.

Алькальд направился прямо в камеру убитого. Велев принести брезент, вместе с полицейским положил на него тело и, надев на покойника кепочку и очки, завернул его в брезент. Потом, отыскав в казарме веревку из питы^[19] и проволоку, обвязал тело убитого от шеи до щиколоток. Когда закончил — он был весь в поту, но выглядел посвежевшим. Словно и впрямь сбросил с себя непосильную ношу — труп убитого.

Только теперь он зажег свет в камере.

— Принеси две лопаты и фонарь, — приказал он полицейскому. — Потом вместе с Гонсалесом пойдете на задний двор и там, где земля посуше, выроете глубокую яму. — Он произносил слова так, словно придумывал каждое, пока выговаривал его. — И запомните на всю свою оставшуюся жизнь, — закончил алькальд, — этот парень не умирал.

Прошло два часа, могила еще не была выкопана. С балкона алькальд видел: на улице нет никого, кроме дежурившего там полицейского, — тот прохаживался от одного угла казармы к другому. Алькальд включил свет на лестнице и, забившись в самый темный уголок кабинета, прилег отдохнуть, уже почти не слыша доносящиеся время от времени издалека крики выпы.

В реальность алькальда вернул голос падре Анхеля. Сначала он услышал, как падре обратился к дежурному, потом до его слуха донесся голос того, кто был вместе с падре, и, наконец, он узнал этот голос. Он так и остался лежать в раскладном кресле. Но услышав голоса в казарме, а затем и шаги по лестнице, он протянул левую руку и взял карабин.

Увидев алькальда на верхней площадке, падре Анхель остановился. Двумя ступеньками ниже в коротком накрахмаленном белом халате стоял с чемоданчиком в руке доктор Хиральдо. Доктор обнажил в улыбке свои ровные зубы.

— Мне очень жаль, лейтенант, — весело сказал он. — Я целый день прождал понапрасну, что меня позовут делать вскрытие.

Падре Анхель пристально посмотрел своими прозрачными спокойными глазами на врача, затем перевел взгляд на алькальда. Алькальд тоже заулыбался.

— Вскрытия не будет, — сказал он, — так как вскрывать некого.

— Мы хотим увидеть Пепе Амадора, — сказал священник.

Держа карабин стволом вниз, алькальд говорил, по-прежнему обращаясь к врачу.

— Я бы тоже хотел, — сказал он, — но не могу. — Перестав улыбаться, он добавил: — Пепе убежал.

Падре Анхель поднялся ступенькой выше. Алькальд направил карабин на него.

— Лучше не дергайтесь, падре, — предупредил он.

Врач тоже поднялся на одну ступеньку.

— Слушайте, лейтенант, — сказал он, еще улыбаясь, — в нашем городке тайн не бывает. Уже с четырех дня все знают: с этим пареньком сделали то же, что дон Сабас делал с проданными ослами.

— Пепе убежал, — повторил алькальд.

Не спуская глаз с врача, он даже не сразу заметил, как падре Анхель, подняв обе руки вверх, одним махом поднялся еще на две ступеньки.

Коротким ударом ребра ладони алькальд снял оружие с предохранителя и встал, широко расставив ноги.

— Стой, — крикнул он.

Врач схватил священника за рукав сутаны. Падре Анхель захлебнулся в приступе кашля.

— Давайте играть в открытую, лейтенант, — сказал врач. Впервые за последнее время голос его посуровел. — Вскрытие должно быть сделано. Только тогда мы раскроем тайну сердечных приступов, которыми страдают узники вашей тюрьмы.

— Доктор, — сказал алькальд, — если вы сделаете еще хотя бы шаг, получите пулю. — И, скосив глаза в сторону священника, добавил: — И вы тоже, падре.

Все трое замерли на месте как вкопанные.

— Кстати, — продолжал алькальд, обращаясь к священнику, — вы, падре, должны быть довольны: именно этот парень расклеивал анонимки.

— Господом Богом заклинаю... — начал было падре Анхель.

Приступ кашля не позволил ему договорить. Алькальд подождал, пока кашель кончится.

— Ну а теперь слушайте меня, — сказал он, — я начинаю считать. Сказав «три», я закрываю глаза и стреляю в дверь. Запомните раз и навсегда, — эти слова он адресовал врачу, — шутки кончились. Мы, доктор, объявляем вам войну.

Врач потянул падре Анхеля за рукав. Он стал спускаться вниз, не отводя глаз от лица алькальда, и вдруг рассмеялся.

— Это мне нравится, генерал, — сказал он. — Вот теперь мы наконец друг друга поняли.

— Раз... — начал считать алькальд.

Продолжения счета они не стали дожидаться. Прощаясь с врачом на углу казармы, падре Анхель чувствовал себя совершенно разбитым, — ему пришлось отвернуться, чтобы врач не заметил слез на его глазах. Доктор Хиральдо, не переставая улыбаться, легонько похлопал его по спине.

— Не удивляйтесь, падре, — сказал он. — Это и есть жизнь.

У своего дома, остановившись под фонарем, он посмотрел на часы: было без четверти восемь.

* * *

Падре Анхель ужинать не смог. После того как прозвучал сигнал, возвестивший о комендантском часе, он сел писать письмо и так и просидел, склонившись над письменным столом, далеко за полночь, а в это время морозящий дождь словно стирал внешний мир. Он писал не отрываясь, старательно, как можно красивее, выводя ровные ряды букв, и вкладывал в это столько страсти и увлеченности, что иной раз даже забывал макать ручку и вспоминал об этом, лишь когда перо всухую царапало бумагу.

На следующий день, после мессы, он отнес письмо на почту, хотя и знал, что до пятницы оно все равно не будет отправлено. Утро выдалось влажное и облачное, но ближе к полудню небо расчистилось, стало прозрачным. Во дворе откуда-то появилась подраненная заблудившаяся птица; около получаса она кружила, прихрамывая, среди тубероз и издавала пронзительный — на одной ноте — крик, и каждый раз эта нота была на октаву выше, пока не достигла такой высоты, что ее звучание можно было услышать только в воображении.

Во время вечерней прогулки падре Анхель никак не мог отделаться от впечатления, что со второй половины дня его преследуют какие-то осенние запахи. Уже в доме Тринидад, где падре вел с выздоравливающей грустную

беседу о болезнях в октябре, ему вдруг показалось, что он угадал этот аромат: именно такой запах он ощущал однажды вечером у себя в комнате, когда к нему пришла Ребека Асис.

На обратном пути он зашел в дом сеньора Кармайкла. Жена и старшая дочь были безутешны, и, стоило лишь упомянуть имя арестованного, их голос задрожал. Но для младших настала счастливая пора: зная, что не последует отцовского окрика, они играли — пытались напоить водой пару кроликов, присланных вдовой Монтель. Неожиданно падре прервал разговор и, начертив в воздухе рукой какой-то знак, сказал:

— О, узнал: это аконит^[20].

Но нет, это был не аконит.

Об анонимках никто уже и не вспоминал. На фоне последних событий они казались едва ли не анекдотическим курьезом из далекого прошлого. В этом падре Анхель смог убедиться сам во время вечерней прогулки, а после вечерней молитвы — когда беседовал у себя дома с дамами из католического общества.

Оставшись один, падре почувствовал, что проголодался. Он поджарил нарезанные ломтями бананы, приготовил кофе с молоком и еще отрезал кусок сыра. Приятное чувство насыщения позволило забыть о преследующем его запахе. Раздеваясь ко сну, а потом уже под пологом, уничтожая последних оставшихся в живых после опрыскивания москитов, он несколько раз отрыгнул: у него была повышенная кислотность; в душе его царил мир.

Спал он безмятежно, как ребенок. Из безмолвия ночи доносились взволнованный шепот, звучание струн в холоде раннего утра и, наконец, песня, пришедшая из других времен. Без десяти пять он осознал: он — снова жив. Не теряя торжественности и достоинства, падре Анхель привстал, растер веки пальцами и подумал: «Пятница, 21 октября». Затем вспомнил и громко произнес:

— Святой Илларион^[21].

Не умывшись и не помолившись, падре оделся. Поправив на сутане длинный ряд пуговиц, он надел потрескавшиеся туфли, которые он обувал ежедневно, — их подошвы уже отваливались. Открыв дверь и увидев туберозы, он вспомнил слова песни.

— «В твоих снах я остаюсь до самой смерти», — проговорил он и вздохнул.

Когда он ударил в колокол в первый раз, в боковую дверь вошла Мина. Она направилась к купели: там стояли пустые мышеловки с нетронутым

сыром. Падре Анхель отворил дверь, выходящую на площадь.

— Какая досада, — сказала Мина, потряхивая пустой картонной коробкой. — Сегодня не попалась ни одна.

Но падре Анхель пропустил ее слова мимо ушей. Разгорался великолепный, ясный день, словно оповещающий: и в этом году, несмотря ни на что, придет в свое время декабрь. Сегодня, как никогда, падре Анхель остро ощутил: Пастор замолчал навсегда.

— Ночью слышалась серенада, — сказал он.

— Да, пели пули, — подтвердила Мина. — Только совсем недавно стрельба прекратилась.

Падре впервые посмотрел на нее. Как и ее слепая бабушка, она тоже была очень бледной и тоже носила голубую ленту светской конгрегации. Но, в отличие от Тринидад, бывшей немного мужеподобной, в ней начала уже расцветать женщина.

— Где стреляли?

— Везде, — ответила Мина. — Они словно с цепи сорвались: все искали листовки. Говорят, в парикмахерской вскрыли пол и обнаружили оружие. Тюрьма уже переполнена, и еще говорят: мужчины уходят в горы — в партизанские отряды.

Падре Анхель вздохнул.

— А я ничего не слышал, — сказал он.

Он пошел в глубину церкви. Мина молча последовала за ним к главному алтарю.

— Но это еще не все, — сказала она. — Ночью, несмотря на комендантский час и стрельбу...

Падре Анхель остановился и осторожно посмотрел на нее своими чистыми голубыми глазами. Мина с пустой коробкой в руках тоже остановилась и, прежде чем закончить фразу, нервничая, улыбнулась.

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.ru](http://Royallib.ru)

[Оставить отзыв о книге](#)

[Все книги автора](#)

Примечания

Роман впервые был опубликован в 1962 году в Испании, но это издание было опротестовано Гарсиа Маркесом, так как издатели позволили себе внести в текст изменения. Второе издание романа, воспроизводящее авторский вариант и признаваемое Гарсиа Маркесом, вышло в Мексике в 1966 году

Многими нитями роман «Скверное время» связан с другими произведениями колумбийского прозаика — с некоторыми эпизодами из романа «Сто лет одиночества», из повестей «Палая листва» (1955), «Полковнику никто не пишет» (1961), «Хроника одного убийства, о котором знали заранее» (1981). Но более всего с целым рядом рассказов из сборника «Похороны Великой Мамы» (1962)

Гарсиа Маркес не указывает год, в который происходят описываемые в романе события, но десятилетие, в которое они могли бы произойти, определить нетрудно. Это конец 40-х — первая половина 50-х годов. Тот период, который в Колумбии определяется словом «виоленсия» (насилие, террор, полицейский произвол) — это испанское слово как термин вошло в наши энциклопедии без перевода

И хотя год в романе не указан, но расписаны события в нем буквально по дням. В данном случае они датированы автором, если можно так сказать, по контрасту: «скверное время» протекает между двумя «святыми» днями — днем Святого Франциска Ассизского (4 октября) и днем Святого Иллариона (21 октября). А вспоминает об этих днях священник, которого зовут Анхель — то есть Ангел.

Наваха — складной нож (в Испании и странах Латинской Америки).

Юкка — корнеклубневые растения рода маниок, произрастающие в тропиках Южной Америки.

Гуайява — растение семейства миртовых, плод этого растения. В какой-то мере для Гарсиа Маркеса гуайява — символ родины. В одном из интервью, будучи в Москве, он сказал: «Если я не мог вспомнить, как пахнет гуайява, то понимал, что утратил связь с прошлым, со своими корнями».

5

Чепе — уменьшительное от Хосе

6

Муниципия — муниципальный округ.

...полковник Аурелиано Буэндия... проспал ночь на этом балконе... —
Весьма любопытная фраза, позволяющая заглянуть в творческую «кухню» колумбийского писателя. В произведениях Гарсиа Маркеса более нигде не упоминается о гостинице, в которой останавливался Аурелиано Буэндия перед подписанием Неерландского перемирия. В самом романе «Сто лет одиночества» говорится: полковник Аурелиано Буэндия выехал для заключения Неерландского договора из Макондо утром; место, где был подписан договор, находилось всего в двадцати километрах от Макондо... Писатель в разные годы обдумывал, вероятно, различные варианты эпизода, связанного с Неерландским договором, которым закончилась «Тысячедневная война».

Кресс (кресс-салат) — растение семейства крестоцветных. Используется как приправа к различным блюдам, а также в народной медицине (например, как средство от лихорадки).

Мангровые леса растут в низменной полосе морских тропических побережий, затопляемой во время прилива; состоят из невысоких вечнозеленых деревьев.

Креозот — маслянистая жидкость с едким запахом. Используется в медицине, а также в технике.

Пасквиль, Марфорио. — Есть несколько версий происхождения слова «пасквиль». По одной из них «пасквиль» — измененная форма имени башмачника (а может быть, портного) Пасквино, жившего в Риме в XV веке. Якобы и сам Пасквино, и проходящие к нему заказчики развлекались тем, что сочиняли едкие эпиграммы, пародии, сатирические стихи на злобу дня. По другой версии «пасквилем» называли древнеримскую статую, стоявшую возле дома, где жил сапожник (или портной) Пасквино. На эту статую жители средневекового Рима наклеивали сатирические стихи — тоже на злобу дня. Есть и еще одна — дополнительная — версия. В то же время, когда у дома Пасквино стояла «клеветническая» статуя, на Марсовом поле была «открыта» другая древнеримская статуя, получившая имя Марфорио. На нее римляне тоже стали наклеивать сатирические стихи и эпиграммы. Якобы на статую у дома Пасквино утром наклеивали листок с язвительным вопросом, а днем на статуе Марфорио уже появлялся листок с язвительным ответом (то есть в средневековом Риме существовала как бы «сатирическая газета»).

Маниока — род растений семейства молочайных. Клубни маниоки по вкусу напоминают картофель. Родом из тропической части Южной Америки.

Святой Рафаил — архангел-целитель.

Сан-Бернардо-дель-Вьенто — город на севере Колумбии, на побережье Карибского моря; такое же название носит и остров, расположенный в Карибском море неподалеку от этого города.

Бенхаминсито — уменьшительное от Бенхамин

Маланга — клубневые растения семейства арниковых. Наиболее известна маланга стрелолистная. У нее крупные листья на длинных черенках. Растет во влажных тропиках Америки.

Трупиал (кассик) — южноамериканская птица отряда воробьиных.

Сабитас — уменьшительное от Сабас

Пита — американская агава, из которой изготавливают прочные веревки.

Аконит (борец) — травянистое растение семейства лютиковых. Аконит — растение ядовитое; в прошлом считали, что яд аконита способен разрушить стенки любого сосуда, в котором он помещен.

Илларион (291–371) — основатель монашества в Палестине (Илларион родился близ города Газа), отшельник, ученик Антония Великого.